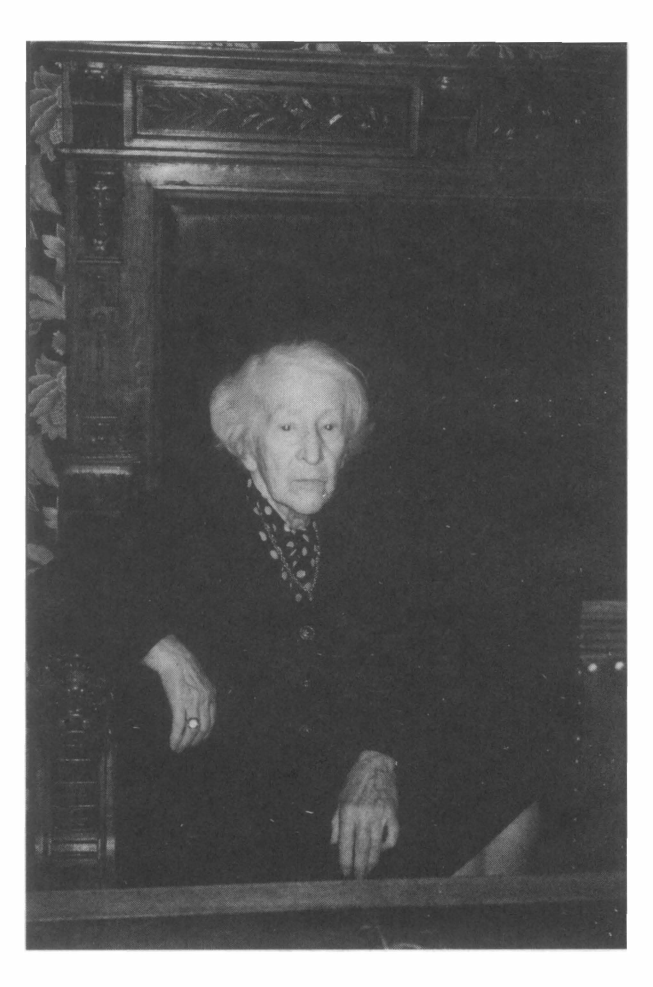

Наталья
Зайцева-Соллогуб
Я вспоминаю...



Дом-музей Марины Цветаевой



Наталья Борисовна Зайцева-Соллогуб.
Дом-музей М. Цветаевой. 1996

Наталья
Зайцева-Соллогуб

Я ВСПОМИНАЮ...

Устные рассказы

Дом-музей Марины Цветаевой

МОСКВА
1998

84(2Рос)
317

ISBN 5-7873-0038-6

Художник
Антон Фукс

ПРЕДИСЛОВИЕ

Наталия Борисовна Зайцева-Соллогуб — одна из немногих, кто остался в Париже живым свидетелем жизни россиян первой волны эмиграции. Она помнит и Россию, из которой девочкой уезжала в годы разрухи. Помнит она и дом в Борисоглебском переулке, где жила Марина Цветаева. Наталия Борисовна и старшая дочь М. Цветаевой, Ариадна, — одногодки, и они бывали вместе и в Кривоарбатском, и в Борисоглебском... Велико было волнение Наталии Борисовны и сотрудников Музея, когда через 75 лет она вновь посетила дом в Борисоглебском, чтобы увидеть Музей на месте бывшей там "трущобы". Отношения семей Зайцевых и Марины Цветаевой знаменательны и заслуживают внимания. Есть поводы для разных суждений на эту тему. Но жизнь оказывается сложней и богаче.

Известный русский писатель, "арбатец", друг И.Бунина, Борис Константинович Зайцев, был авторитетом в среде русских писателей, он был избран председателем Московского отделения Всероссийского Союза писателей и потом в эмиграции долгие годы был председателем Парижского Союза писателей и журналистов. Круг общения Марины Цветаевой и Бориса Зайцева был общим. Друзья были общие. Общими были их чувства и мысли в те "окаянные дни" в Москве. Б.Зайцев был рядом, когда Марина Цветаева потеряла надежду получить известия от мужа — С.Я.Эфрона, пропавшего на дорогах гражданской войны. Он был рядом, когда пришло ложное известие о расстреле офицера Белой гвардии Эфрона на станции Джанкой. Когда 3 февраля 1920 года младшая дочь Марины Цветаевой, Ирина, умерла в приюте от голода, Борис Константинович сделал почти невозможное — выхлопотал

академический продовольственный паек для Цветаевой. Он сам приносил ей дрова для чугунной печки-"буржуйки". Он отвез Ариадну в деревню, в имение к своей матери, чтобы поправить ее после тяжелой болезни. Многое можно к этому добавить. Тогда был заложен фундамент надежных их человеческих отношений в нечеловеческих условиях жизни. Вместе они хлопотали о голодающих в Крыму писателях.

В Париже многое Борисом Зайцевым и Мариной Цветаевой воспринималось по-разному. Разным было отношение к СССР, к евразийцам в русской эмиграции. Гражданские пути их разошлись, но человеческие отношения оставались достойными. Марина Цветаева всегда верила в надежного Зайцева, в его помощь в беде и получала эту помощь. Ариадна прятала в их семье свои девичьи обиды и домашние ссоры. Она уезжала на летний отдых с семьей Зайцевых. Можно ли при этом говорить о несостоявшихся отношениях Б.Зайцева и М.Цветаевой? В России, когда Ариадна вернулась из заключения, она иногда вынуждена была говорить не то, что думала, но даже в условиях жесткой цензуры Ариадна и Наталия Борисовна писали друг другу.

В Доме-музее Марины Цветаевой ежегодно проводятся вечера памяти Бориса Зайцева. Память о нем Музей свято чтит, и вечера эти популярны в Москве. В них участвуют гости из Парижа и Калуги. В память о встрече в Музее с Наталией Борисовной Зайцевой выходит эта книга.

Воспоминания Наталии Борисовны о родителях, о Буниных, Тэффи, Ремизове, о жизни в Париже записала и любезно предоставила для публикации Дому-музею Ольга Алексеевна Ростова.

Завершает книгу составленное А.Д.Романенко *Приложение* — воспоминания, эссе и письма Б.К.Зайцева, часть которых публикуется впервые, а часть — впервые в России.

Надеемся, что книга эта привлечет внимание тех, кто интересуется судьбами русской культуры.

Надежда Катаева-Лыткина

“ТИХИЙ СВЕТ”

Эти воспоминания никогда не были написаны. В их основе — устные рассказы Натальи Борисовны Зайцевой-Соллогуб для Московского радио. В течение нескольких лет, во время моих приездов в Париж, и в 1996 году, когда Наталья Борисовна была в Москве, мы усаживались по вечерам, и я включала магнитофон. Некоторые из ее рассказов рождались под впечатлением событий дня (посещение Дома-музея М.Цветаевой или прогулки по Старому Арбату), а иногда она просто говорила: “А, знаешь...” — и лился рассказ о том, что Наталье Борисовне особенно памятно, дорого, что она и сейчас не может вспоминать без волнения.

Наталье Борисовне выпало счастье быть дочерью большого писателя, тонкого и нежного человека. Она близко знала многих, кто сегодня для нас — литература и история. Наталья Борисовна стала свидетельницей уникальных встреч и ярких событий. Перед ее глазами и через ее душу прошла жизнь русской эмиграции “первой волны”, драмы и радости, трудные будни и вечная ностальгия по родине лишенных Отечества людей.

Но о чем бы ни вспоминала Наталья Борисовна, какой бы темы ни касалась, в ее рассказах невольно проступает образ отца — Бориса Константиновича Зайцева — истинного христианина, светлого и глубокого писателя.

Последнюю четверть своей долгой жизни Борис Константинович работал в “Русской мысли”. Он был у истоков создания газеты в 1947 году, взяв на себя заведование отделом литературы. Многим ныне известным авторам маститый писатель дал дорогу в литературу, был требовательным наставником и справедливым критиком.

До последних дней жизни очерки и эссе, актуальные статьи и воспоминания Б. К. Зайцева печатались в "Русской мысли", что в немалой степени способствовало авторитету газеты. Публика с нетерпением ждала новых работ Мастера — подлинного патриарха русской литературы Серебряного века.

Воспоминания дочери писателя... Они начинаются с ее рассказов о раннем детстве и заканчиваются последними днями из жизни отца, но не ищите в них хронологии. Память Натальи Борисовны переносит нас от одного эпизода к другому в разных временных измерениях, и мы узнаем удивительные истории, которые не могут оставить нас равнодушными.

Своеобразный стиль, легкий разговорный язык, деликатное, трепетное отношение к героям своего повествования — все это, безусловно, не может не привлекать. Воспоминания Натальи Борисовны окрашены теплом, любовью к тем, о ком она говорит.

Я благодарна Наталье Борисовне за чудные часы, проведенные с нею наедине. Жаль, что бумага не может передать ее певучего тембра, блеска глаз, иногда подернутых слезой, доброго негромкого смеха. Вчитайтесь в ее воспоминания, и я убеждена — вы откроете для себя много нового и прекрасного, ощутите светлые помыслы поколения ее отца.

Ольга Ростова

Я ВСПОМИНАЮ...

Рассказывает
Наталья Борисовна Зайцева-Соллогуб

Когда я была маленькая, мы жили в имении Зайцевых — бабушки Татьяны Васильевны и дедушки Константина Николаевича — в Притыкине Каширского уезда Тульской губернии. В прошлом году я была там и ничего не могла узнать — усадьбы не сохранилось, дом снесен, на его месте одни колючки, кругом все заросло огромными кустами и травой[1].

А тогда была красота. Я, как и все деревенские жители, вставала рано, часов в семь. Папа — в одиннадцать приходил из флигеля, где они жили с мамой. После кофе снова шел во флигель, потому что каждое утро писал. Я это называла: "Книгель пошел во флигель!" По вечерам папа долго работал, а тушил свою лампу, когда уже светало и деревенские шли на сенокос.

В детстве я очень любила гулять с папой по полям, он всегда мне что-то интересное рассказывал. Мне казалось, что он знает абсолютно все! А вечерами, когда бывало ясное небо, отец показывал разные созвездия и учил меня различать их.

Он любил звезды, а особенно свою Вегу — голубую звезду. Недаром его лучшая лирическая повесть так и называется "Голубая звезда"[2]. Он отыскивал ее всюду — и в небе затемненного Парижа, когда шла война, и в каменном "колодце" Лубянки, где сидел вместе с "братьями-писателями"[3]. В нашей последней квартире,

здесь на rue Fremicourt, папино кресло стоит у окна — он любил смотреть на звезды.

* * *

Весной 22-го года (приблизительно в марте-апреле) папа заболел в очень тяжелой форме сыпным тифом. Двенадцать суток он был между жизнью и смертью, без сознания. Лечил его брат Веры Николаевны Буниной — Павел Муромцев, который в конце концов отчаялся — ничего сделать было нельзя[4].

А мама беспрестанно молилась. В страшную тринадцатую ночь она положила папе на грудь иконку Св.Николая Чудотворца, которого особенно чтила, и просила Господа о спасении папы. Произошло невероятное: утром к нему вернулось сознание.

Папа очень медленно поправлялся, был слаб, а главное — и питать-то его было нечем. В Москве голодали.

В те годы папа был избран председателем Всероссийского союза писателей, его знали[5]. И старые, еще со студенческих времен, знакомые отца — Каменев и Луначарский — помогли ему получить разрешение на выезд за границу на поправку[6]. Решено было ехать в Германию. Родители думали, что папа поправится и приблизительно через год, когда в России все образуется, мы вернемся.

Я очень хорошо помню, как мы уезжали из России. Это было в июне 22-го года.

Сначала к нам в Москву приехала бабушка Татьяна Васильевна. Она в то время еще жила в Притыкине — нашем бывшем имении, где все уже давно отобрали, а дом пока оставался за ней. Бабушку я очень люби-

ла и была привязана к ней — ведь до девятилетнего возраста я жила практически с ней. Она пробыла у нас два-три дня и уехала — не хотела остаться и провожать нас на вокзале. Было очень грустно. Все плакали, но я тогда еще многого не понимала. Мне было девять лет.

А накануне отъезда к нам в Кривоарбатский, где мы жили[7], пришел дедушка со стороны матери — Алексей Васильевич Орешников[8]. Он служил главным хранителем в Историческом музее в отделе нумизматики — это был крупный ученый. Дедушка любил нас, а мы все — его. Мама говорила: "Мы скоро вернемся, мы на несколько месяцев уезжаем". А он сказал грустно: "Нет, я думаю, мы уже больше никогда не увидимся".

Я помню, как мы ехали на вокзал на извозчике через всю Москву. И я сожалела о школьных подругах, с которыми училась полтора года, о бабушке, дедушке. На вокзале была масса друзей, сестры моей матери и мои двоюродные сестры. Многие плакали.

Мы сначала поехали в Ригу, где ночевали, а потом уже в Берлин. В тот момент, когда мы пересекали границу, поезд шел довольно высоко, над какими-то лесами, и папа сказал: "Вот тут кончается Россия". У меня что-то сжалось внутри, я выдернула ленту из кос и бросила в окно — на память в Россию.

* * *

Когда мы приехали в Берлин, то остановились на несколько дней в отеле, который показался мне шикарным. В первый же день родители пошли со мною в магазин, чтобы меня одеть. Мне купили соломенную шля-

пу и пальто, потому что мое пальто было сделано из какой-то гардины.

В Берлине была масса русских, и на улицах была слышна русская речь[9]. Папа сразу же оказался в кругу старых знакомых: здесь были Ремизов, Белый, Ходасевич с Берберовой, Тэффи, Пастернак, Эренбург, Шмелев, А. Толстой. Некоторые, правда, вскоре вернулись в Россию, но приехали высланные Айхенвальд, Осоргин, Степун, Бердяев[10]. Папа общался, конечно, со всеми, но особенно был дружен с П.П. Муратовым[11].

Первое время папа был очень слаб. Морской курорт был ему необходим, чтобы он немножко поправился, окреп, и мама старалась питать его как следует. Мы поехали в Мисдрой. Вскоре папа, действительно, стал гораздо лучше себя чувствовать и даже прибавил несколько кило.

На следующий год мы опять были на море и жили в местечке Преров в одном доме с философом Бердяевым. В то время у меня как раз был сильный коклюш, и я заразила маму Николая Александровича, которой было за 70. Все страшно волновались за ее здоровье.

Из России нам писали тогда обе бабушки, мои тети и дедушка. А сестра моего отца — Надежда[12], которая была замужем за французом, звала нас переехать в Париж.

* * *

Зимой 1923 года папа поехал из Берлина в Италию, в Рим, по приглашению профессора Ло Гатто[13]. Профессор пригласил тогда нескольких русских писателей читать лекции о том, что происходит в России: как живут

люди, что было во время революции. Папа знал французский, немецкий и итальянский языки. Он хорошо говорил по-итальянски. Блестяще знал итальянский Михаил Андреевич Осоргин, с которым отец был очень дружен[14]. И свои доклады они делали для итальянской публики, которая встречала их восторженно.

Но среди этой писательской делегации были русские, которые настолько плохо читали эти лекции по-итальянски, что итальянцы ничего не понимали и говорили: "Как странно, русский язык имеет много общего с итальянским". То есть они думали, что эти писатели читают на русском языке, который "похож" на итальянский!

В это время мы с мамой жили на море. И вместо того, чтобы возвращаться из Рима в Берлин, папа поехал в Париж осмотреться и привезти нас с мамой. Наши вещи остались в Берлине, куда мы больше не попали. И мы приехали в Париж 14 января 1924 года, как оказалось, навсегда.

В Париже жизнь кипела. Там была масса русских — такое впечатление, что из России уехала вся интеллигенция. Издавалось уже несколько русских газет — "Последние новости", а с 25-го года — "Возрождение", выходили "Современные записки"; газета "Руль", правда, издавалась в Берлине (ее редактором был Гессен[15]), — и отец печатался всюду.

Очень яркой была художественная жизнь. Была опера, приезжал Художественный театр из Праги (часть его потом осталась в Париже), был балет, устраивались бесконечные балы, вечера.

Мои родители жили очень трудно материально. Был квартирный кризис. И целая квартира им была дорога по сравнению с тем, что отец зарабатывал. Вечно

болела голова о том, где достать деньги. Ведь папа за свои публикации получал гроши, как и все остальные.

* * *

Первые две недели, когда мы приехали во Францию, я жила у моей тети, папиной сестры, а мои родители — у Осоргиных. Потом они нашли квартиру в Со, под Парижем, и я поступила во французскую школу. Но родители скоро поняли, что проезд в Париж из Со — это очень дорого и совсем невыгодно. Лучше платить за квартиру немножко дороже, но жить в Париже. И Константин Дмитриевич Бальмонт[16] порекомендовал нам квартиру, которая нам понравилась, правда, квартира была нам велика, так как в ней было четыре комнаты, — и дороговата. Поэтому с нами первые полгода жила мамина племянница, Елена Аркадьевна Комиссаржевская, которая играла в театре "Летучая мышь" у Никиты Балиева (со своим маленьким четырехлетним сыном и английской гувернанткой)[17]. Две комнаты были у них, а две у нас. Елена очень поздно возвращалась после спектаклей, и ей было необходимо, чтобы квартира была жилая. Потом, когда она уехала на гастроли, к нам переехала Надежда Александровна Тэффи[18]. Мы с ней весело и дружно жили. Она была удивительно талантливым человеком и все очень талантливо делала: она не умела шить, но даже шила мне какие-то платья (потому что мама совсем этого не умела). Мне было тогда одиннадцать-двенадцать лет, и Тэффи было приятно, что есть какой-то ребенок в доме.

Тэффи была довольно одинока. Обе ее дочери жили за границей, по-моему, в Польше. А с мамой и папой она очень дружила, хотя с папой они всегда были на "вы".

Наш дом постоянно был полон народу, но мама была строгой — по утрам она никогда не позволяла тревожить отца, который работал.

У нас часто бывал Бальмонт с женой Еленой Константиновной, "Пал Палыч" Муратов, Михаил Андреевич Осоргин с женой Рахиль Григорьевной[19].

Тэффи, которая жила с нами, часто по вечерам бывала где-то в гостях. А когда она приходила, то шла на кухню и там доедала всякие остатки! Она говорила: "Я, как санитарный пес, все подъедаю!"

В то время у меня еще не было таких закадычных подруг, как потом. Ведь это было начало нашей жизни в Париже. Я ходила в коммунальную школу. С французскими девочками дружила, конечно, но все-таки моим кругом были взрослые, друзья родителей. Я любила, когда к нам приходили Ходасевич и его жена Нина Берберова, но они довольно скоро уехали в Италию, кажется, к Горькому[20]. Часто у нас бывал Владимир Николаевич Ладыженский. Он приходил всегда к завтраку, и каждый раз, когда подавали сыр, говорил:

"Вы любите ли сыр? — спросили раз ханжу.
— Люблю, — сказал ханжа, — я вкус в нем нахожу!"[21]

Мы с мамой переглядывались и внутри хохотали.

В России мама всегда держала прислугу, и поэтому в первые годы она не очень умела заниматься хозяйством, готовкой. И наша жизнь бывала довольно сум-

бурной. В одном лишь мама была идеальной во всех отношениях — она оберегала папу и создавала все условия для работы. Кто-то из знакомых тогда сказал, что мама — модель писательской жены!

С Буниными родители в то время переписывались, так как Иван Алексеевич и Вера Николаевна по полгода жили в Грассе. А в те месяцы, когда они перебирались в Париж, мои родители часто приходили к ним на rue Jacques Offenbach[22].

Нередко бывал у нас молодой журналист А. Бахрах[23]. С П.П. Муратовым папа часто играл в шахматы, а я показывала ему свои рисунки, — и он меня подхваливал.

В том же доме, что и мои родители, жила замечательная актриса Екатерина Николаевна Рощина-Инсарова. Она была очень интересная во всех отношениях — прекрасная собеседница, рассказчица. Мне она очень нравилась и физически — красивая, с необыкновенными глазами, чарующим голосом. Правда, очень рано она переехала в старческий дом в Cormeilles, и мы с моим мужем впоследствии часто к ней ездили. Это была очаровательная старая дама — она просто притягивала к себе. Но она была очень одинока[24].

Так случилось, что ни у кого из писателей и журналистов — папиных и маминых друзей — не было детей моего возраста. Дочка Ремизовых, Наташа, осталась в России со своей теткой. Она не захотела ехать с родителями. Для Ремизовых это был страшный удар, их вечная боль. Так они с дочерью больше и не виделись никогда[25].

Детей не было у Осоргиных. У Шмелева сын был расстрелян. У Тэффи были две дочери гораздо стар-

ше — обе они были уже замужем. У Толстого Алексея Николаевича были дети, но они в 1923 году уехали в Россию. Когда мы жили в Мисдрое на Балтийском море, я познакомилась с Алексеем Николаевичем и милейшей его женой. У нее был сын от первого брака — Фефа Волькенштейн, с которым я очень подружилась. Потом был Никита — сын Алексея Николаевича, и в 1923 году родился Митя: толстый! Он при рождении чуть ли не пять кило весил. Вскоре Толстой с семьей уехал. А с Митей я встретилась через много лет: он приезжал в Париж из России[26].

Папа был дружен со многими — и с Ремизовым, и со Шмелевым[27]. Но Шмелевы в это время жили где-то за городом, и мы виделись нечасто, а Ремизовы жили в другом квартале. Серафима Павловна была громоздкая, ей трудно было ходить, и в гостях они бывали мало. Скорее, мы к ним ходили. Я помню, что, когда первый раз пришла к Ремизовым, была потрясена: в комнате Алексея Михайловича по диагонали была протянута веревка, и на ней висели какие-то чучела, рыбьи головы, скелеты, чертики, странные сказочные предметы! Он вообще был удивительный человек, и детям это очень нравилось. Ремизов любил детей — недаром он писал сказки, рисовал фантастические полудетские картинки, мастерил игрушки.

В это время был как раз 25-летний юбилей литературной деятельности моего отца, и Алексей Михайлович очень своеобразно и смешно его чествовал: во-первых, "писатель Зайцев" был принят членом почетного Обезьяньего Ордена, в который входили многие писатели за "особые", конечно, заслуги — все это были друзья Ремизова. И второе — как высшую награду Ордена папа получил Грамоту

и Обезьяний орденский хвост из папье-маше. Все это у меня хранится[28].

У Ремизова была целая мастерская — он был не только выдумщик, но и замечательный художник. А один почерк Ремизова чего стоил — это произведение искусства: с заглавными буквами, как в старинных книгах, с виньетками и украшениями. Его письма к папе надо не только читать, но и рассматривать[29].

Через 50 лет, когда Алексей Михайлович уже умер, мы с мужем были у одной дамы — Натальи Владимировны Кодрянской. В ее квартире стоял большой шкаф со стеклянными дверцами, и за ними были размещены замечательные футуристические рисунки. Оказывается, это были рисунки Ремизова. Я не знаю, что со всем этим случилось. Надеюсь, что они где-нибудь в музее[30].

* * *

В 1926 году мы переехали на другую квартиру (11, rue Claude Lorrain), где весь дом был населен русскими[31].

Здесь жили Михаил Андреевич Осоргин с женой, сестра Алданова — Любовь Александровна Полонская с мужем и сыном[32], среди жильцов был и художник, и шофер такси, и портниха.

Русские жили каким-то отдельным государством в большой Франции: русские рестораны, русские магазины, церкви. Главным был, конечно, собор Александра Невского на rue Daru, но вскоре появилось Сергиево Подворье и многие церкви в окрестностях Парижа[33]. Так что мы чувствовали себя почти как дома. На Пасху мы ездили на Daru и потом с зажженными свечка-

ми возвращались домой на метро. На нас смотрели как на сумасшедших!

В эти годы отец написал “Золотой узор”[34], небольшие рассказы и “Сергия Радонежского”[35]. Его тянуло писать о России, о русской святости. А в 1927 году он смог поехать на Афон в знаменитый монастырь и писал оттуда письма маме. Эти замечательные письма-дневники послужили ему черновиком для книги “Афон”[36].

Произведения отца много переводили. “Золотой узор” был переведен на французский, немецкий и итальянский. Но мне кажется, что папу трудно было переводить — отец был слишком лирик, и переводчик должен был быть ему сродни, чтобы переводить точно папину поэтическую прозу. Однако рецензии были замечательными.

Ну а русские тиражи эмигрантских писателей были крошечными. Две тысячи экземпляров считалось уже хорошим тиражом. Конечно, мы были ни к чему не приспособлены, и эта вечная нехватка денег... Папа поехал на Афон, не имея обратного билета, и прислал маме телеграмму, что положение его ужасно. Мама пошла в “Последние новости”, где должны были вскоре печататься отрывки из будущей книги “Афон”, но аванса ей не дали. Выручил кто-то из друзей. А мой отец ушел после этого из “Последних новостей” и стал печататься в “Возрождении”[37].

Всем было трудно. Особенно писателям. Придумывали разные вечера, балы, и весь доход потом делили среди писателей. Московское землячество иногда помогало. А богатые русские, у которых были хорошие большие квартиры, устраивали частные вечера. Главным образом их устраивала Мария Самойловна Цетлин[38].

Иногда снимали зал. Я помню, был папин вечер в отеле “Мажестик”.

Вскоре писателям стали помогать Югославия и Чехия. Югославский король Александр, который учился в России, очень любил русскую культуру и помогал многим писателям — Бунину, Ремизову, Мережковскому, Куприну, моему отцу и др. А в 1928 году он пригласил всех в Белград. Бунин не поехал, а отец и Куприн были там вместе. В Белграде их чествовали и вручили ордена от короля Александра. Это замечательный орден, очень красивый, у меня хранится[39].

Из Чехословакии каждый месяц присылали небольшую сумму, и это помогало как-то сводить концы с концами. Со временем помощь прекратилась[40].

Круг интеллигенции в Париже того времени был удивительным. Это и труппа Художественного театра, и “Летучая мышь”, и Рахманинов. Родители часто слушали Рахманинова. Однажды я была на его концерте: мы с папой получили билеты — безумно дорогие, но на самом верху. Я помню, мы бежали на пятый ярус, как сумасшедшие!

Я слышала Шаляпина. Он пел в “Русалке” Даргомыжского.

А какой был дягилевский балет!

К эмиграции привыкали, сживались, пристраивались. Пока еще надеялись вернуться, ничем не обзаводились — жили на “чемоданах” в недорогих меблированных комнатах. Все думали: вот-вот вернемся. Но когда окончательно поняли, что этот момент не наступит, может быть, никогда, потихоньку начали устраиваться. Денег, конечно, не было. Папа, чтобы как-то разместить свои книги, сам делал стеллажи из деревянных ящиков из-под мыла “Lux”, а потом красил их...

В тридцатых годах родители потеряли надежду вернуться на родину. О том, что делается в России, тогда уже знали: шли аресты, ссылки, преследования. С 1933—34 гг. переписка с Россией прекратилась.

* * *

В 1921 году мои родители перевезли меня из нашего имения в Притыкине в Москву. Они чувствовали, что в деревне все кончится плохо. Однажды пришли какие-то комиссары, посмотрели и сказали: “Ну, ты, барыня, смотри, какая здоровая — будешь дрова пилить. А писатель пусть идет в контору и работает!” После этого папа с мамой решили, что нельзя оставаться, — мы уехали.

В то время Марина Ивановна Цветаева жила очень близко от нас — на Собачьей Площадке, в Борисоглебском переулке, где теперь ее Дом-музей. Она жила со своей старшей дочкой Ариадной, а младшая — Ирина — не так давно умерла от голода[41]. Жили они в ужасающих условиях: в особняке, где не было отопления, на самом верху. Окно было в потолке, так что было полное ощущение, что комната темная. А по углам был лед. Бедная Аля лежала на какой-то койке, бледная, худая. Мы с папой и мамой иногда заходили к Марине Ивановне — папа приносил ей дрова, чтобы немножко подтапливать.

В те годы от голодной смерти нас спасал академический паек. Папа на салазках возил паек нам и заносил Марине Ивановне ее продукты[42].

Когда наступило лето и меня решили все-таки отправить в деревню к бабушке, папа и мама пригласили

в Притыкино на поправку Алю. Сначала мама увезла меня, а потом вернулась в Москву и через некоторое время привезла Алю. В деревне, конечно, для нее был рай. Да и для меня, тоже. Мне кажется, что в детстве всегда была хорошая погода! Мы играли, много гуляли, вокруг была чудная природа.

Аля меня всегда поражала: на прогулках обо всем, что она видела, она рассказывала в стихах — я была совершенно потрясена! Но зато я могла удивить ее тем, что каталась на лошади верхом и ездила в ночное. Бабушка мне давала попону, которой я должна была покрыть лошадь, чтобы не запачкаться, но я эту попону, как только мы выезжали из деревни, моментально сдирала и бросала в кусты, а дальше ехала, как все деревенские дети, без всякой попоны! А то бы меня засмеяли. Когда мы возвращались домой, я захватывала эту попону. И Алю это тоже потрясало! Мы не то чтобы хвастались друг перед другом, а просто чувствовали себя свободно. Нам было весело.

Аля была невероятно талантлива. Это был вундеркинд. Даже сны эта девочка видела не обыкновенные, а поэтические. И по утрам она мне и бабушке их пересказывала.

Аля очень поправилась в деревне — порозовела, загорела: после страшной зимы в голодной и холодной Москве в деревне у бабушки было сказочно.

Осенью меня отдали в советскую школу. Я была очень рада, потому что все мое детство прошло среди детей, в деревне, где я была со всеми дружна. А в Москве я была среди взрослых. Конечно, все это были очень интересные люди, но школа есть школа.

Я помню, что в школе было безумно холодно. Мы брали с собой какую-то еду, конечно, очень скромную,

чтобы поесть во время перемены. Школа была на Плющихе. Моя учительница работала в этой школе, бывшей гимназии, очень давно. Как тогда говорили, она была "из бывших". А в конце года дети стали шушукаться, что она уезжает за границу, так как ее сын был офицером Добровольческой армии.

Условия в школе были сложные. Дети мерзли. Со мной рядом за партой сидела девочка Верочка, ботинки у нее были такие дырявые, что даже виднелись пальцы. Бедность была ужасная. Многие дети так и ходили в мороз и снег.

А Аля Цветаева никогда не училась в школе. Только впоследствии, уже в Чехии, ее отдали в какую-то гимназию, но она там не ужилась. Мать ее учила сама — Аля была необыкновенно способная. В десять-двенадцать лет у нее был уже совершенно взрослый почерк, она писала без ошибок. Моя семья уехала за границу практически одновременно с Мариной Ивановной. В первый же год мы встретились в Берлине, но почему-то у нас с Алей не получилось никакого контакта. А Цветаевы очень быстро потом уехали в Чехию.

Лет через десять мы встретились вновь, когда Марина Ивановна уже переехала во Францию. Кажется, в 34-м году, я уже была замужем, мы с Алей начали дружить. И очень дружили. А потом, в 37-м, она уехала в Россию. Уговаривала и нас, но мы не поехали[43].

Вокруг М.И. Цветаевой был целый круг друзей и почитателей, но она все-таки всегда была одинока. А Аля была в доме как прислуга, с матерью были страшные ссоры. Но у нас она о своей семье никогда не рассказывала, да и мы не расспрашивали, зная, что ей трудно.

Я помню лето в La Favière. Это было в 1935 году, там были Унбегауны[44], Марина с сыном и другие лю-

ди. Мария Сергеевна Булгакова приехала позднее[45]. Мур тогда был толстым мальчиком, но я его мало помню[46]. Была масса знакомых, все вместе купались, гуляли, хотя Марина Ивановна держалась несколько в стороне, с нами не купалась.

Марине Ивановне всегда было очень трудно. Еще в России она боялась за Алю, потому что у нее умерла страшной голодной смертью младшая дочка. И Алю она старалась питать, как могла. Я помню, мы однажды пришли к ней в Борисоглебский переулок к вечеру — Аля сидела на кровати, а Марина Ивановна ей впихивала какую-то несъедобную кашу. Аля давилась, не могла проглотить и держала эту кашу за щеками. Но когда мать отворачивалась, она все выплевывала и запихивала все под матрац. А в квартире жили крысы, которые свободно разгуливали по комнате и, конечно, съедали потом Алину кашу. Было жутко. Аля была очень худая. И когда мы встретились с ней после Чехии, она была вся разбухшая, отечная. Я не знаю, как она вообще выжила.

Уже во Франции Аля превратилась в красивую девушку, очень стройную, интересную, но с грустными глазами.

Особенно близки мои родители с Мариной Ивановной не были, потому что произошла скандальная история с ее мужем, Сергеем Эфроном[47]. Он был замешан в деле Райса, весьма темном[48]. Он потом как-то очень быстро уехал в Россию, где был арестован и впоследствии расстрелян. А Марина Ивановна осталась с сыном Муром одна, уже совсем без всяких средств. С писателями она почти не общалась, друзей у нее не было. Отец ей немного помогал материально за счет средств, получаемых от писательских вечеров. Сама же она в

них почти не участвовала. Она была сложным человеком. После того, как в Россию уехали Аля и Эфрон, ей ничего не оставалось, как тоже вернуться. О ее гибели мы узнали во время войны — как-то просочилось.

С Алей мы переписывались. Вскоре после приезда в Москву она писала мне восторженные письма — ей все нравилось: и советские праздники, и энтузиазм[49]. А потом она замолчала: арест отца, война, гибель матери, ее ссылка. Видимо, Аля знала, что все письма просматриваются цензурой, поэтому никогда не жаловалась.

Когда Аля уезжала из Парижа в 1937 году, мы, ее друзья, все ее провожали. Собрали ей денег, купили много теплых вещей для России, надарили платьев. Конечно, мы втайне завидовали Але — она едет на Родину! Тяготение к России у нас было — мы тогда еще не совсем "офранцузились". Состояние было странное: мы еще не стали на сто процентов эмигрантами, но не были российскими, советскими, упаси Бог. Хотелось нам иметь свою родину, и Россия нас очень влекла. Нам иногда казалось, что родители уж слишком перетягивают — "как было чудно до революции". Нас это даже иногда раздражало. Но к сожалению, мы все-таки скоро поняли, что сталинский режим — это катастрофа. Возвращаться нельзя. И когда в 1939 году началась война и моего мужа мобилизовали, хотя он даже не был французским подданным, мы стали гораздо более французскими патриотами. Все очень боялись, что вдруг Россия встанет на сторону Германии, и как же мы будем воевать с Россией?! Но, слава Богу, этого не случилось, хотя Сталин и Гитлер вступили в сговор. Мы страдали, когда немцы продвигались вглубь России, и очень радовались, когда фашистов поперли.

Когда кончилась война, началась страшная пропаганда по возвращению русских в Россию. Издавались газеты, создавались общества просоветского направления, некоторые эмигранты стали получать советские паспорта, чтобы уехать. Но моя семья, наши друзья понимали, что делать этого нельзя. Многих из тех, кто вернулся, арестовали, сослали, а выжили единицы.

В 1932 году я вышла замуж за Андрея Владимировича Соллогуба[50]. Но с родителями виделась очень часто, постоянно бывала у них. Папа и мама оставались в своей квартирке в Булони, 110, rue Thiers[51].

Грянула война. Родители в это время гостили в имении у Ельяшевичей в Bussy[52]. Моего мужа мобилизовали 15 октября 1939 года. Мы остались совершенно без средств, потому что Андрей получал только четверть своего жалованья. А так как он был с высшим образованием, его направили в офицерскую школу, и ему тоже надо было помогать и посылать посылки. Меня взяли в банк, где он служил до войны, мелкой служащей, и я что-то писала там всю зиму 39—40-го года. Тогда еще газеты существовали, но когда пришли немцы, все абсолютно прекратилось, и у моего отца не было никакой возможности как-то зарабатывать. Моего мужа из офицерской школы, слава Богу, не успели перебросить на фронт. И он оказался в неоккупированной зоне Франции. А мне в это время пришлось работать подавальщицей в ресторане — единственная возможность как-то продержаться. Это была очень тяжелая и неприятная работа — в этот простой русский ресторан приходили немцы, и надо было подавать. Муж вернулся осенью 1940 года, и я устроилась работать в контору.

Немцы вошли в Париж в июне 1940 года. Сначала они вели себя осторожно, но довольно скоро, когда началось Сопротивление и французы стали устраивать террористические акты, фашисты развернулись. Вскоре они объявили, что все евреи должны прийти и записаться. Евреям приклеивали на одежду звезду, которую они постоянно должны были носить. Наши друзья-евреи решили, что это не просто так. Один наш друг, Л.А. Элькинд, смог бежать в свободную зону, а его жена осталась. Как-то она спросила, сможет ли жить у нас, если будет облава? И я сказала "конечно". 14 июля 1941 года она прибежала в одном летнем платье — мы оставили ее ночевать. В ту ночь фашисты собрали массу евреев — их привезли в грузовиках на велодром, где был сборный пункт. Это было ужасно видеть: все с детьми, с какими-то кулями, узлами. Плачут...

Анна Владимировна Элькинд жила у нас. Однажды мне нужно было пойти к ней в квартиру, откуда она убежала в одном платье, и взять ее вещи — было страшно. В квартире оставалась ее старушка-мать. Немцы ее не забрали, так как ей было много лет. Я все взяла, вернулась, а через несколько дней нам с Анной Владимировной надо было выйти к фотографу, чтобы сделать ей фальшивые документы для побега. Анну Владимировну мы постоянно прятали, даже запирали дома, чтобы кто-нибудь случайно не увидел ее и не донес. Через три недели с поддельным паспортом, который помогли сделать участники Сопротивления в мэрии, она убежала в свободную зону к мужу. А ее старушку-мать мы взяли к себе в декабре, так как разнесся слух, что будут арестовывать всех евреев, и стариков тоже. Так и случилось. Примерно через месяц я помогла ей сделать паспорт на другую фамилию, и Генриетта Генриховна пе-

ребралась к дочери. Таким образом они спаслись. А очень много наших друзей погибло[53].

День, когда началась война с Россией, я помню, как будто это было вчера. Мы с нашими друзьями поехали в лес погулять, устроили пикник, как вдруг по радио сообщили, что немцы вошли в Россию. Это было 22 июня 1941 года.

Было ужасно: фашисты по радио орали, что идут вперед торжественным маршем, и все время играла их музыка. Хотелось заткнуть уши.

Отец сразу повесил в комнате карту России, и мы постоянно следили за военными действиями. Отец очень страдал за Россию.

А немцы во Франции стали регистрировать всех эмигрантов. О, было страшно — ведь мы были русскими подданными.

Во время оккупации Парижа было очень плохо с едой: паек, который давали по карточкам, был крошечным, и чтобы его получить, мы стояли в огромных очередях. Я не знаю, как мы вообще все могли вынести. По карточкам давали немножко вина и табак. Папа менялся с нами: мы ему вино, а он нам папиросы. Однажды мы с мамой встретились в метро, и я протянула ей вино для папы, да так неловко, что бутылка разбилась... Было очень обидно.

А потом начались бомбардировки Парижа. Американцы бомбили стратегические пункты фашистов, но часто попадали на жилые кварталы. Как-то папа приехал к нам в 7-й округ Парижа, и вдруг началась бомбежка — бомбили Булонь, где жили родители: там находились заводы Рено и Ситроен, на которых немцы делали военную технику. Мы видели из окна, что там бомбят. Пыль долетала даже до нашего квартала. Гро-

хот был ужасный. Это было вечером, и вот наконец по радио сообщили, что все закончились и метро работает. Мы поехали, не доезжая Porte Saint Cloud нас высадили, потому что в метро тоже попала бомба. Мы бежали по нашей улице, беспокоясь за маму, — ведь она оставалась дома, под бомбежкой, и вдруг увидели ее на углу. На маме не было лица: она боялась, что отец попал под бомбардировку в метро...

Несколько раз бомбы попадали в соседние с родителями дома. Погибали ни в чем не повинные люди[54].

Папа очень исхудал. Мне даже теперь трудно об этом говорить. В квартире были выбиты стекла, растрескались стены. Когда бомбили, они с мамой бежали в убежище. Но в этот страшный период отец работал: именно в эти годы рождалась его повесть "Звезда над Булонью" — и вернулся к давней работе: в третий раз взялся за перевод "Ада" Данте. С этой книгой у него вообще было все очень странно — он начал ее переводить еще в России, но помешала революция, и книга не вышла. Потом брался за нее в эмиграции, снова правил, но работа оставалась незаконченной, и вот во время войны, когда немцы оккупировали Париж, настал час "Ада". Трагизм жизненных реалий, душевный настрой — все подвело его к окончанию работы над переводом. Он сделал эту работу необыкновенно — поэтическое творение Данте им переведено на русский язык в прозе, сохранив музыку итальянского текста.

Под бомбами, в холодной, полуразрушенной квартирке в Булони родилась книга, которая, я надеюсь, увидит свет в России[55].

* * *

В 1957 году моя мама очень тяжело заболела — у нее случился удар. Восемь лет она была в параличе. И все восемь лет отец ухаживал за ней. Первое время он к маме никого не подпускал: мы брали сиделку, чтобы она дежурила у мамы ночью, но пришлось ее отпустить.

Родители прожили вместе 65 лет и всю жизнь любили друг друга. И отец боролся за маму, продлевал ее жизнь.

Сначала она не могла говорить — и папа читал ей вслух: два раза перечел "Доктора Живаго", "Войну и мир", читал русских классиков и современную литературу, — он читал часами. Через несколько месяцев маме стало немножко легче, и тогда папа начал с ней говорить, чтобы память к ней вернулась. Перед сном они молились: "Отче наш..." — говорил папа, и мама силилась повторять за ним. Мама потихоньку вспоминала какие-то слова, иногда трудные, и однажды она сказала мне: "Твой папа обаятельный человек".

А потом мама даже стала немножко писать левой рукой — каракули, конечно, и папа иногда за нее дописывал слова. У меня сохранились ее записочки к Вере Николаевне Буниной, ее задушевной подруге.

В эти годы папа писал мало — он всецело отдавал себя маме. А до ее болезни задумывал книгу о Достоевском. Он очень любил Достоевского и внимательно изучал его творчество, написал несколько работ. Но его мечта осталась невоплощенной — после маминой смерти в 1965 году папа был уже в очень преклонном возрасте, и былых сил не осталось.

* * *

Моя мама и Вера Николаевна Бунина дружили с детства и до самой смерти. Две закадычные подруги — Вера Орешникова и Вера Муромцева были очень разными. Мама — эмоциональная, увлекавшаяся в юности декадентами, лекциями Бальмонта, Брюсова и Волошина, и Вера Николаевна — серьезная, строгая девушка, слушательница Высших женских курсов Герье. И тем не менее, более задушевной дружбы, сердечности в отношениях между ними, понимания, нельзя было желать.

Вера Николаевна познакомилась с Иваном Алексеевичем Буниным в доме моих родителей в 1906 году — меня тогда еще и на свете не было. Папа вспоминал, что это был домашний литературный вечер, каких тогда было много, и Бунин читал на нем свои стихи. Его, видимо, поразила очень красивая девушка с огромными светло-прозрачными глазами и тонким профилем. В квартире родителей на Спиридоновке Бунин и Вера Муромцева встречались и позднее, и мама с папой были очень рады, что у них роман, потому что любили обоих[56].

Иван Алексеевич с Верой Николаевной уехали из России раньше нас — в 1918 году, практически сразу же после революции, которую Бунин однозначно и резко отверг. И встретились они с моими родителями уже в 24-м году, в Париже.

Бунины обыкновенно полгода жили в Грассе на вилле Бельведер, полгода — в Париже. Я помню, что как только в 22-м году мы переехали границу Германии, папа написал Бунину длинное письмо — тогда они были еще на "вы".

Первое время во Франции они почти не виделись — переписывались, но летом 1925 года, когда мы жили в имении Ельяшевичей в департаменте Вар (а Грасс был, быть может, в ста километрах оттуда), Бунины к нам приехали на машине. Они иногда брали шофера с машиной, и в этот раз мы провели вместе весь день. Мы завтракали под платанами, а потом папа показывал всем аббатство Тороне.

Вера Николаевна очень любила детей, была мягкая, и у меня с ней сразу же получился контакт. А Ивана Алексеевича я смущалась. Ведь я, в сущности, узнавала его впервые: в России, когда они уезжали, мне было шесть лет. Потом мы виделись часто, и я подружилась с Буниными на всю жизнь.

Вскоре, тем же летом, мы поехали в Грасс, на виллу Бельведер, которую Бунины годами снимали. Я думаю, что кто-то из богатых почитателей Ивана Алексеевича платил за эту виллу, потому что у Буниных, как и у всех русских эмигрантов, денег было совсем не много. Эта вилла очень красиво стояла над Грассом — туда нужно было подниматься в гору, был сад, и посреди большого сада стояла эта двухэтажная вилла.

Вид с верхнего этажа был удивительный, иногда даже было видно море — это в двадцати километрах от Cannes. Там мы чудесно гуляли с Иваном Алексеевичем; иногда даже ночевали. Бунин всегда был оживленный, милый, элегантный. С папой у них бывали долгие разговоры. Конечно, для меня не совсем понятные, но я чувствовала, что им интересно друг с другом.

Потом, когда мы переехали в Париж, я с родителями часто бывала у Буниных. Был какой-то момент, ко-

гда Вера Николаевна серьезно болела. У нее что-то случилось с печенью, и ей даже вырезали желчный пузырь. Мы все страшно волновались. Мама и папа сильно переживали и поддерживали ее и Ивана Алексеевича, как могли.

Очень часто папа жил у Буниных в Грассе. Он там проводил месяц каждое лето, вплоть до войны 1939 года.

Тем временем я вышла замуж, и мы с мужем по его службе три недели жили в Cannes. Иван Алексеевич как-то приехал к нам завтракать. Я очень волновалась — как я его буду кормить, мне было тогда 19 лет! Был какой-то самый обыкновенный завтрак, но я купила горчицу — очень вкусную и хорошего качества. И Иван Алексеевич сразу же обратил на это внимание и сказал: "Ну, вы богато живете!" Он ко мне и мужу относился очень дружески, тепло. Иван Алексеевич любил общаться с молодежью. С нами он держался просто, без всякой позы, шутил, что-то интересное всегда рассказывал. Нам было приятно.

Как известно, у Буниных в Грассе часто жили, иногда годами, молодые писатели. Это, в первую очередь, Галина Кузнецова и Леонид Зуров[57]. Л.Ф. Зурова Бунин выделял, возможно, не только из-за его таланта, но и из-за молодости, из-за сочувствия к судьбе юноши, прошедшего путь с Добровольческой армией, контуженного на войне.

В конце жизни Ивана Алексеевича Зуров трогательно ухаживал за тяжело больным писателем — поднимал его с постели, купал, делал все необходимое.

* * *

Папа любил бывать в Грассе, ему там хорошо работалось. У Ивана Алексеевича внизу был большой кабинет, а папа всегда жил наверху. По утрам все "творили" — в доме стояла тишина. Потом за завтраком встречались и подолгу разговаривали. Папа был сдержанным на язык, а Иван Алексеевич — острым, язвительным. Некоторых он "крыл", других — восхвалял. Был неоднозначным и иногда нетерпимым.

В предвечерние часы все вместе совершали долгие прогулки в горы. Когда я там бывала, конечно, гуляла с ними. Помню летающих светлячков, пение цикад и чудные, льющиеся отовсюду запахи. Поля цветов окружали Грасс (жасмин, розы) — ведь там делали духи. Теперь там все так застроено... Говорят, что от Грасса до моря — сплошной город.

В ноябре 1933 года по всей Франции разнеслась весть о том, что Ивану Алексеевичу Бунину присуждена Нобелевская премия по литературе. Телеграмма пришла из Швеции. Это был праздник всей русской колонии в Париже, всей русской эмиграции. Мой отец был счастлив за Бунина — и как за друга, и, конечно, как за писателя, русского писателя.

Он в тот же день написал об этом статью ("Бунин увенчан") и вечером помчался в редакцию газеты "Возрождение", чтобы успеть сдать материал в ближайший номер. Выйдя из редакции, взволнованный и счастливый, он обошел все бистро на Place d'Italie, в каждом выпивая по рюмке за славу своего друга! Мама волновалась, что он так долго не возвращался домой.

Иван Алексеевич помолодел, он был очень растроган. После возвращения из Стокгольма к Буниным ва-

лил народ, были бесконечные приемы. Но очень значительную часть премии Иван Алексеевич передал в помощь своим собратьям по перу.

В 1933 году все мы еще не знали, что многое в нашей жизни скоро изменится, что начнется война, оккупация, унижения, потери. Всю войну Бунины жили в Грассе, а мы в Париже. Удавалось посылать друг другу только короткие весточки.

Когда война кончилась и мои родители вновь встретились с Буниными в Париже, Иван Алексеевич был другой — что-то случилось с ним. Он тяжело болел, худел, раздражался. Материально Буниным было очень трудно — Нобелевская премия давно была прожита. А в эмиграции в это время начался разброд. Вскоре произошел и раскол на тех, кто сочувствовал Советам, и тех, кто не верил Сталину. Странным образом мой отец и Бунин оказались в разных лагерях.

В 1948 году Ивана Алексеевича пригласило советское полпредство на какой-то ужин, и он пошел.

Надо, конечно, учесть, что тогда каждый писатель хотел, чтобы его начали печатать в России. И многие думали, что, раз Советы хотят издавать писателей-эмигрантов, значит, там что-то переменилось и если бы начали печатать Бунина, то почему бы не стали издавать Зайцева и других?..

Но папа был абсолютно непоколебим. Он не верил ни минуты в то, что при Сталине может быть что-то положительное.

А насчет их расхождений, я считаю, что вышло все досадно. Иван Алексеевич к тому времени очень болел, и ему надо было прощать многое. У него не осталось уже сил бороться. Он был рад, что его книги хотят печатать в России. Слава Богу! Еще в эмиграции

бывали такие бабки, которые приходили от одного к другому и сплетничали, передавали, весьма искаженно, всякие разговоры: у Буниных против Зайцева и наоборот. Отношения испортились совершенно. Началась целая кампания в прессе, где Ивана Алексеевича очень осуждали. И он решил, что мой отец полностью на стороне этих людей. Но это было не так, хотя принципиально отец не поддерживал Бунина и не одобрял его сближения с советскими представителями[58].

Когда Иван Алексеевич слег, мы с мужем к нему приходили. С папой у него контактов не было, а меня с мужем он принимал. Бунины нас действительно любили как своих детей. Но Иван Алексеевич не хотел, чтобы мы его видели в тяжелом состоянии, и он с нами разговаривал из другой комнаты. Я думаю, он сам не мог смириться с тем, что силы покидают его, он хотел остаться в нашей памяти бодрым и полным жизни. Через неделю Ивана Алексеевича не стало. Его хоронил весь Париж. Народу была масса.

Папа очень страдал. В некрологе в "Русской мысли" он привел свое последнее письмо к Ивану Алексеевичу, на которое Иван Алексеевич уже не смог ответить. В письме была боль от разрыва и признание в искренней дружбе. До конца дней отец и мысленно, и в своих работах обращался к Бунину — его творчеству, его жизни. Он любил Бунина.

После смерти Ивана Алексеевича Вера Николаевна долго не была у моих родителей. Но, когда у мамы случился удар, Вера Николаевна сама пришла. (Она была истинной христианкой, добрым и хорошим человеком.) И хотя мама не могла ни говорить, ни двигаться, а только смотрела, в этих глазах было все — и счастье, что при-

шла “ее Верун”, и благодарность. Отношения восстановились. Но Ивана Алексеевича уже не было.

Вера Николаевна умерла через несколько лет, а в 1965 году — моя мама. Мой отец остался один.

Папино горе было глубоким — его жизнь стала воспоминанием о любви, о своей Вере. Память возвращала его в молодость, в Россию, в трудные первые годы эмиграции: он разбирал свой архив, читал и перечитывал письма жены.

Видимо, не сразу родилась у него мысль опубликовать переписку двух Вер — своей и Веры Николаевны Буниной. Он готовился к этому несколько лет. И вот в 1967-м и 1968-м вышли две книги — “Повесть о Вере” и “Другая Вера”, в которых жизни и судьбы двух замечательных русских женщин, двух подруг, жен двух писателей вновь переплелись[59].

* * *

Отец всегда очень следил за политикой, хотя сам политикой не занимался. Но он совершенно определенно имел интуицию и знал, что можно и чего нельзя. Он никогда, даже в самые тяжелые времена немецкой оккупации в Париже, не коллаборировал, никогда у фашистов не печатался, так же, как и никогда не заигрывал с Советами. Да, он был в числе запрещенных в СССР, и поэтому, когда к нему стали приезжать из России деятели литературы, он это очень высоко ценил.

Когда у отца в гостях был К. Паустовский, очень тепло они встретились и очень долго-долго разговаривали. Сохранилась чудная фотография этой встречи. В 62—63-м годах приезжал академик Михаил Алексеев

из Пушкинского Дома. Мама тогда была еще жива, и мы с мужем отвезли Алексеева с супругой в квартиру родителей. Это был милейший человек. Интеллигент в полном смысле слова.

А начиная с 65-го года у отца многие бывали из России: Владимир Солоухин, Юрий Казаков. Очень хотел прийти Александр Твардовский, но его явно не пустили. Они договорились, что Твардовский придет както утром: но накануне его секретарша позвонила и сказала, что Твардовский срочно уезжает в 7 утра...

Наталья Кончаловская приходила к папе просто в гости. Они очень долго беседовали. Бывала вдова Михаила Булгакова — она оставила о себе очень приятное впечатление[60].

С Борисом Пастернаком папа был знаком еще до эмиграции. А потом, в пятидесятые, возобновилась их переписка и продолжалась до самой смерти Бориса Леонидовича. Отец тяжело переживал трагическую судьбу и изгнание внутри своей страны этого большого писателя. У отца есть несколько работ, посвященных Б. Пастернаку и его памяти[61].

В сентябре 1971 года, мы тогда еще жили в Autheuil вместе с папой (мама уже умерла), к нам вдруг пришел из комиссариата какой-то чиновник, довольно смущенный, и сказал, что им дано распоряжение, чтобы господин Зайцев утром и вечером приходил бы в комиссариат регистрироваться: должен приехать Брежнев, а так как господин Зайцев враг большевиков, то ему необходимо приходить и расписываться. Мой отец очень смеялся. Он говорил: "Хорошо, я могу, если я такой враг, расписаться, а потом между двумя подписями пойти и убить Брежнева". Он был страшно горд,

что считался опасным террористом! Ему было 90 лет, и он через четыре месяца умер, не дожив до 91 года. И тогда я, конечно, взяла у доктора свидетельство, что ходить в комиссариат он не будет, что это ему трудно, а потом пошла в комиссариат и немножко поскандалила — что это за безобразие, какой же старик террорист?! "Это не мы выдумали,— мне говорят,— это у нас такой приказ из Москвы. Если ваш отец не может приходить, к нему будет приезжать чиновник". И утром, и вечером к нам приходили. Но самое курьезное было в том, что как раз в эти дни мы должны были переехать на новую квартиру. И я об этом предупредила, а мне сказали: "Тогда вы в комиссариат вашего нового округа должны заявить, и к вам оттуда будут приходить". И вот мы приехали на нашу новую квартиру, но вышло так, что в этот день лифт не действовал, а мой отец не мог подниматься на шестой этаж. Тогда наши друзья Мамонтовы сказали, что с удовольствием приютят папу, пока лифт не пустят. В этот самый день Брежнев уехал из Парижа в Марсель, так что я опять пошла в комиссариат и сказала, чтобы они не думали, что мой отец поехал за Брежневым, а просто не действует лифт, и он ночует у друзей! И к отцу приходили из того округа, где жили Мамонтовы. Эта история имела продолжение — вся литературная общественность эмиграции была возмущена, и в печати был опубликован "Протест Литературного фонда" против действия властей. А папа смеялся[62].

Как давно все это было! Уже 25 лет прошло со дня папиной смерти — он был последним из писателей Серебряного века, друзья ушли раньше.

Папа верил, что в России все переменится, пробьется что-то светлое: об этом он судил по литературе, по тем брожениям, которые были в 60-е годы. Папа любил говорить: “Мы — капля России”, он не мыслил себя без Родины.

Вот уже скоро 10 лет, как его книги вернулись русскому читателю. Он мечтал об этом. И я счастлива, что его внуки и правнуки сегодня живут с верой в Россию и гордятся именем своего деда.

ПРИМЕЧАНИЯ

Упоминаемые Натальей Борисовной Зайцевой-Соллогуб сочинения ее отца напечатаны в книгах:

Зайцев Б.К. Голубая звезда. Повести и рассказы. Воспоминания. М.: Московский рабочий, 1989. Далее принято сокращение: *Голубая звезда.*

Серебряный век: Мемуары. М.: Известия, 1990. Далее принято сокращение: *Серебряный век.*

Зайцев Борис. Братья-писатели. М.: Правда, Библиотека "Огонек", № 12, 1991. Далее принято сокращение: *Братья-писатели.*

Зайцев Борис. Дни. Москва – Париж: YMCA-Press – Русский путь, 1995. Далее принято сокращение: *Дни.*

При составлении примечаний использованы биографическая хроника и библиография сочинений Зайцева – см. "Bibliographie des œuvres de Boris Zaitzev". Сост. Р. Герра, ред. Т.А. Осоргина. Париж, 1982.

1. Родители Зайцева: мать Татьяна Васильевна (урожд. Рыбалкина, ум. 1927), отец Константин Николаевич, инженер (ум. 1919) – о них см. в книгах Б. К. Зайцева "Юность", "Тишина", "Древо жизни".

   В деревне Притыкино, ныне Ясногорского района Тульской области, в августе 1958 года побывал московский ученый, литературовед Вадим Никитич Чуваков. В письмах к Александру Вениаминовичу Храбровицкому (1912–1989) он подробно рассказывал о своей поездке и о поисках пропавшей в годы революции библиотеки писателя. В письме

от 19.08.1958 г. Чуваков в частности писал: "От бывшего имения Зайцевых почти ничего не сохранилось. В доме помещался ветеринарный пункт. Потом и сам дом перенесли в Захарьино (от Притыкино километров шесть). Остался пруд, 'барский колодец', одичавшие груши, да два высоких тополя" (ОР РГБ, ф. 357). Поиски библиотеки, где было много книг с дарственными надписями, оказались безрезультатными, следов ее пока не обнаружено.

О послереволюционных, проведенных в Притыкине годах, см. в книге воспоминаний Зайцева "Москва", см.: *Серебряный век.*

2. Эту повесть см.: *Голубая звезда.*
3. Вместе с другими членами Всероссийского комитета помощи голодающим (Помгола) Зайцев был арестован в августе 1921 г. и некоторое время, недолго, провел в заключении на Лубянке в тюрьме ВЧК. Об этом см. в кн. "Москва", см.: *Серебряный век.*
4. *Муромцев* Павел Николаевич (?), шурин И.А. Бунина, врач. Однако лечил и поднял на ноги Зайцева известный терапевт, проф. Дмитрий Дмитриевич Плетнев (1872—1941), впоследствии, в марте 1938 г., осужденный по делу о т.н. "антисоветском правотроцкистском блоке" и расстрелянный 11 сентября 1941 г. согласно постановлению Государственного комитета обороны, подготовленному Берией и Кобуловым и подписанному Сталиным. В сентябре 1990 г. на месте казни Плетнева и 156 его соузников по Орловской тюрьме в Медведевском лесу под Орлом воздвигнут памятник. См.: Известия ЦК КПСС, М., 1990, № 11, "Трагедия в Медведевском лесу".

   У Зайцева о его болезни см. в кн. "Москва", см.: *Серебряный век.*
5. Зайцев был избран председателем Московского отделения Всероссийского союза писателей в 1921 г. Заместителями его были М.А. Осоргин и Н.А. Бердяев.

6. О встречах с А.В. Луначарским (1875 – 1933) и Л.Б. Каменевым (1883 – 1936) Зайцев написал воспоминания ("Иллюстрированная Россия", № 42, 10 окт., 1936; "Новый журнал", кн. 61, Нью-Йорк, 1960; "Русская мысль", Париж, 1960, 5 нояб., № 1600), которые в России публикуются впервые, см. *Приложение*. При оформлении выезда Зайцевых за границу им также помогли З. Гржебин и Ю. Балтрушайтис.

   Об отъезде за границу см. в кн. "Москва" (глава "Прощание с Москвой"). См.: *Серебряный век.*

7. Дом в Кривоарбатском переулке, 4 был снесен в конце 1980-х гг.

8. *Орешников* Алексей Васильевич (1855 – 1933), крупнейший русский ученый – историк, нумизмат и сфрагист, с 1928 г. – член-корреспондент АН СССР, всю свою жизнь (с 1883 г.) работавший в Историческом музее в Москве. Под именем Геннадия Андреевича он выступает в книге Зайцева "Древо жизни", Нью-Йорк, 1953.

   Дочь Орешникова – Вера (в первом браке Смирнова, 1878 – 1965), с ноября 1902 г. – жена Зайцева и мать его дочери Натальи.

9. Берлин, как известно, в первой половине 1920-х гг. стал главным центром послереволюционной русской эмиграции. Там существовали русские издательства, печаталось много книг, выходили русские газеты и журналы. В дальнейшем эмиграция постепенно перемещалась: большей частью на запад, во Францию, а затем в США; частью на восток, в Польшу, в страны Прибалтики и в советскую Россию.

   В 1922 г. из советской России двумя группами, московской и ленинградской, были высланы ученые, писатели, общественные деятели и публицисты, по мнению властей представлявшие угрозу для государства. Парадоксально, но эта высылка многим из них спасла жизнь. Некоторые из впоследствии возвратившихся на родину погибли в ГУЛАГе (Л.П. Карсавин, Б.О. Харитон и др.).

10. *Бердяев* Николай Александрович (1874 – 1948), русский философ, был выслан из России в 1922 г. После войны отношения между ним и Зайцевым серьезно осложнились, если не оборвались, из-за просоветских настроений и действий Бердяева. Воспоминания Зайцева о нем в кн. "Далекое", см.: *Серебряный век*.
11. *Муратов* Павел Павлович (1881 – 1950), писатель, историк искусства, один из ближайших друзей Зайцева (в эмиграции с 1922 г.). О нем см. в кн. *Дни*.
12. *Донзель* Надежда Константиновна (урожд. Зайцева, ум. в кон. 1940-х гг.) – сестра писателя, жившая во Франции. Ее муж, Морис Донзель, был переводчиком романа "Золотой узор".

   Вторая сестра, Татьяна Константиновна *Буйневич* (? – 1938) также умерла в эмиграции.
13. *Ло Гатто*, Этторе (1890 – 1983), выдающийся европейский славист, страстный поклонник, пропагандист и исследователь русской литературы в Италии. Автор многих монументальных работ по истории России, ее культуре, литературе и искусству. С Зайцевым он был знаком с 1922 г. и в дальнейшем непременно приезжал во Францию на празднования всех его юбилеев. О нем см. в кн. *Дни*.
14. *Осоргин* Михаил Андреевич (наст. фам. Ильин, 1878 – 1942), писатель, публицист, политический и общественный деятель, ближайший друг Зайцева и его семьи. Выслан из России в 1922 г. Очерк Зайцева о нем см. в кн. *Братья-писатели*.
15. *Гессен* Иосиф Владимирович (1865 – 1943), адвокат, публицист, один из лидеров Конституционно-демократической партии. С 1919 г. в эмиграции. Основатель газеты "Руль" в Берлине (1920 – 1931). Автор книги мемуаров "В двух веках", Берлин, 1937.
16. *Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867 – 1942), поэт, близкий знакомый Зайцева, о котором он много писал и

которому активно помогал в тяжелые годы его эмигрантских бедствий и болезней. В числе немногих русских писателей (вместе с Ю. Балтрушайтисом и Ю. Терапиано) Зайцев присутствовал на похоронах Бальмонта — см. в кн. *Голубая звезда, Дни*.

17. *Комиссаржевская* Елена Аркадьевна (урожд. Акопиан, 1895—1981), племянница В.А. Зайцевой, актриса, жена Балиева.

    Балиев Никита Федорович (1877—1936), артист МХТ, создатель и режиссер популярного в Москве, а после революции и в эмиграции, театра-кабаре "Летучая мышь" (1908—1934).

18. *Тэффи* (урожд. Лохвицкая Надежда Александровна, в замужестве Бучинская, 1872—1952), писательница, в эмиграции с 1920 г. Близкий друг семьи Зайцевых. Зайцев дважды выступал с рецензиями на ее книги в журнале "Современные записки"(1928, 1932).

19. *Осоргина* Рахиль Григорьевна, первая жена Осоргина, о ней в кн. "Москва", см.: *Серебряный век*.

20. *Ходасевич* Владислав Фелицианович (1886—1939), поэт, критик, переводчик, с ним Зайцев работал в газете "Возрождение".

    Берберова Нина Николаевна (1901—1993), писательница, в 1922—32 гг. жена Ходасевича, с которым в 1922 г. уехала из советской России. В годы Второй мировой войны оставалась на территории оккупированной Франции и склоняла Бунина, Адамовича и Руднева к возвращению в Париж, "под немцев", потому что тут "наконец, свободно дышится". В одном из своих писем Бунин замечал: "А разве Берберова не была его, Гитлера, поклонницей?" См. письма Бунина, Адамовича, а также кн. Романа Гуля "Я унес Россию" ("Новый журнал", кн. 160, Нью-Йорк, 1985, стр. 10—11). Зайцев защищал ее от нападок и обвинений в симпатиях к нацизму. Берберова — автор книги воспоминаний "Курсив мой" (Нью-Йорк, 1983; М., 1996).

21. *Ладыженский* Владимир Николаевич (1859 – 1932), писатель, автор воспоминаний (в частности, о Н.С. Лескове, А.П. Чехове и др.) в книгах "Дни и встречи", опубликованы в журнале "Вестник Европы", Петроград, 1917, № 2; и "За рубежом", Белград, 1930.

Цитируемое четверостишие – Эпиграмма № 1 Козьмы Пруткова.

22. *Бунины*: Иван Алексеевич (1870 – 1953) и его жена Вера Николаевна (урожд. Муромцева, 1881 – 1961), давние и, возможно, самые близкие друзья Зайцевых, им в разные годы Б. Зайцев посвятил немало сердечных строк.

23. *Бахрах* Александр Васильевич (1902 – 1985), писатель, критик, давний знакомый, еще по Берлину, Зайцева. По свидетельству Г. Поляка, был секретарем А.В. Чаянова. В годы войны жил у Буниных в Грассе, что спасло его от гибели в нацистских лагерях. Автор ценных воспоминаний о русских писателях "По памяти, по записям" (1980), продолжающихся печатанием в "Новом журнале", кн. 190 – 191, 197 (в частности о Зайцеве, стр. 207 – 211), 198 – 199). Нью-Йорк, 1996.

24. *Рощина-Инсарова* Екатерина Николаевна (1883 – 1970), актриса, в 1909 – 11 гг. – в Москве, в Малом театре и театре Незлобина, в 1913 – 17 гг. – в петербургском Александринском театре, затем – в эмиграции. В 1927 г. к двадцатипятилетию ее сценической деятельности Зайцев вместе с другими писателями выступил с приветствием. С 1933 г. жила по соседству с Зайцевыми в пригороде Булонь-Бийянкур. 24 июня 1935 г. в парижском зале общества "Очаг русской музыки" состоялся большой вечер Рощиной-Инсаровой, в котором принимала участие Тэффи. 16 апр. 1970 г. Зайцев опубликовал в газете "Русская мысль" очерк "О Рощиной-Инсаровой".

25. *Ремизова* Наталья Алексеевна (1904 – 1943), дочь писателя А.М. Ремизова, "маленькая Наташа", не захотевшая покинуть советскую Россию. Здесь у нее родился сын, Б.Б. Бу-

нич-Ремизов; в письме 1946 г. Ремизов просил его рассказать о похоронах своей любимой дочери. См.: С.С. Гречишкин. Архив А.М. Ремизова. — В кн.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л., 1977.

26. "Фефа", Федор Федорович *Волькенштейн* (1909—1985), сын от первого брака Наталии Васильевны *Крандиевской* (1888—1963), писательницы, поэта, автора книги "Воспоминания", Л., 1977. Во втором браке с Алексеем Николаевичем Толстым (1882—1945) у нее родились сыновья Никита (1917—1994), физик, и Дмитрий (1923), композитор.
27. *Шмелев* Иван Сергеевич (1873—1950), писатель, близкий друг Зайцева в эмигрантские годы. См. очерки о Шмелеве в кн. *Братья-писатели*, *Голубая звезда.*
28. *Ремизова-Довгелло* Серафима Павловна (прав. Довкгело, 1875—1943), палеонтолог, с 1903 г. жена писателя А.М. Ремизова (1877—1957). Письма Ремизова к ней в кн. "На вечерней заре", Рим, 1985. В эмиграции Ремизовы с 1921 г., в Париже — с 1923 г.

    Любитель всякого рода мистификаций, выдумщик, одаренный необыкновенной фантазией, Ремизов в 1908 г. учредил "Обезьянью Великую и Вольную палату" (Обезвелволпал) и от имени ее царя Асыки Первого награждал своих друзей и приятелей шутливыми отличиями — орденами и почетными "обезьяньими грамотами". Очерк Зайцева "О Ремизове — к десятилетию кончины" см.: *Голубая звезда*.
29. Переписка Ремизова и Зайцева пока не издана.
30. *Кодрянская* Наталья Владимировна (урожд. фон Гернгросс, 1901—1983), писательница, близкая знакомая Ремизовых с 1940 г., автор книг: "Алексей Ремизов", Париж, 1959; "Ремизов в своих письмах", Париж, 1977, где воспроизведены многие рисунки писателя и опубликованы его письма к ней. Известно, что Ремизов был одаренным и своеобразным художником: на выставке в Праге в 1933—34 гг. экспонировалось более 1000 его рисун-

ков. В конце 1940-х гг. Ремизов подарил Кодрянской свою библиотеку. Собранные ею материалы о Ремизове ныне хранятся в ИРЛИ.

31. Дом на улице Клод Лоррен, о котором идет речь, Зайцев позднее живописал в романе "Дом в Пасси", Берлин, 1935. Рецензию М.О. Цетлина на этот роман см.: "Современные записки", 1935, кн. 39.

32. *Алданов* Марк Александрович (1886—1957), писатель, очерк Зайцева о нем см. в кн. *Братья-писатели*. Зайцев выступал на вечере памяти Алданова (см.: "Русская мысль", 1967, 15 апр.) В ОР РГБ (ф. 622, к. 3, ед. хр. 6) хранится письмо Зайцева к Алданову от 6 июля 1936 г., которое публикуется впервые; см. *Приложение*.

    Сестра Алданова, Любовь Александровна (1893—?), поэтесса, литературный критик, участница Первой мировой войны, была замужем за литератором, библиографом и библиофилом Яковом Борисовичем *Полонским* (1892—1951). Их сын, Александр Яковлевич (1925—1991), литератор, библиограф, усилиями которого были обнаружены и сохранены ценные документы по истории русской литературы. В собрании автора настоящих примечаний среди подаренных А.Я. Полонским семейных фотографий есть в частности портрет Л.А. Полонской и фото Зайцева в Италии (публикуется в настоящем издании; см. *Приложение*).

33. Собор Св. Александра Невского на ул. Дарю в Париже — главный храм православного русского зарубежья, в числе прихожан которого были многие выдающиеся деятели русской культуры и литературы XIX—XX вв. Многих из них там и отпевали.

    Сергиево Подворье — русская обитель в честь преподобного Сергия Радонежского с Богословским институтом в Париже — "некий центр православного богословия и благочестия", строительство которого началось в середине 1920-х гг. по инициативе митрополита Евлогия

на купленном им участке земли. См. очерки Зайцева "Сергиево Подворье" в кн. *Дни* и "Обитель" (1926).

34. "Золотой узор", 1923, отд. изд. — Прага, 1926, — роман Зайцева, переведенный в 1928—1959 гг. на французский, немецкий, испанский, итальянский и чешский языки. Среди откликов на эту книгу выделялась статья Владимира Васильевича Вейдле (1895—1979) "Мастер лирического романа" ("Le Mois", 1933, 1 окт.).
35. Книга "Преподобный Сергий Радонежский" (Париж, 1925) была написана летом 1925 г. в имении Ельяшевичей (см. о них ниже).
36. Книга "Афон" вышла в Париже в 1928 г. и посвящена митрополиту Евлогию (*Георгиевский* Василий Семенович, 1868—1946), о нем см. очерк в кн. *Дни.*
37. В редактируемой Павлом Николаевичем *Милюковым* (1859—1943) газете "Последние новости" Зайцев печатался с 1924 г. и в частности в 1927 г. опубликовал там несколько глав из книги "Афон". В 1930-е гг. он появлялся на страницах газеты редко, а с осени 1927 г. стал постоянным автором другой парижской русской газеты "Возрождение", где увидело свет множество его статей и очерков (и даже целая книга "Валаам", 1935—36). Предпринятая в сер. 1930-х гг. Алдановым попытка вновь побудить Зайцева к более активному сотрудничеству с "Последними новостями" успехом, по-видимому, не увенчалась.
38. *Цетлина* Мария Самойловна (урожд. Тумаркина, 1882—1976), жена поэта и прозаика Михаила Осиповича *Цетлина* (псевд. Амари, 1882—1945). Они жили в повторной эмиграции в Париже с 1919 г. В 1940 г. Цетлины перебрались в США, где Цетлин и Алданов при активном участии и поддержке Цетлиной создали в Нью-Йорке "Новый журнал". В этом издании (1946, кн.14) Зайцев напечатал свой очерк памяти Цетлина, имеющий несомненную историко-литературную ценность. Мы публикуем его здесь (впервые в России), см. *Приложение.*

39. В сентябре 1928 г. в Белграде состоялся Первый съезд русских писателей эмиграции, в котором участвовали представители всех писательских союзов европейской диаспоры (из Франции, Германии, Чехословакии, Югославии, Болгарии, прибалтийских стран). Русских писателей встречали сердечным гостеприимством. Король Югославии Александр, под покровительством которого проходил съезд, наградил орденами Св. Саввы разных степеней Мережковского, Гиппиус, Вас. Немировича-Данченко, Зайцева, Куприна, Волковыского, Яблоновского и др. После деловых совещаний и торжественных приемов в Белграде писатели разъехались по стране; в частности Зайцев вместе с Куприным побывали в Воеводине и Загребе, где посетили русские институты и выступили перед общественностью. Впоследствии почти все участники этого съезда так или иначе писали о своих крайне благожелательных впечатлениях (в нашем личном собрании хранятся неопубликованные записные книжки Гиппиус с рассказом о приезде в Белград). Однако часть писателей, по сугубо личным причинам, не приняла участия в белградском съезде (Бунин, Алданов, Бальмонт, Тэффи, Северянин).

Памяти убитого террористами в 1934 г. "короля-рыцаря" Александра Зайцев посвятил очерк "У короля" (март 1935 г.).

Можно предположить, что белградский съезд писателей эмиграции побудил советское руководство ускорить созыв 1-го Всесоюзного съезда советских писателей, который, как известно, состоялся в Москве в 1934 г.

40. Правительство Чехословакии и лично президент Томаш Масарик (1850 – 1937) тепло принимали в своей стране русских эмигрантов, писателей и ученых, оказывали им довольно существенную помощь, учредив в частности несколько пенсий-стипендий для самых знаменитых из них. Зайцев получал такую пенсию-пособие, которая, однако, прекратилась с середины 1930-х гг.

41. *Эфрон* Ариадна Сергеевна (Аля, 1912—1975), старшая дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона.

Эфрон Ирина Сергеевна (1917—1920) — их вторая дочь.

42. Очерки Зайцева о Цветаевой см. в кн. *Братья-писатели* и *Дни*. Зайцев был одним из немногих, кто в России и в эмиграции постоянно оказывал Цветаевой и материальную, и моральную поддержку, хотя особенной близости между ними не было. Цветаева ценила сострадательное и сердечное отношение Зайцевых. О взаимоотношениях Цветаевой и Зайцева см. в воспоминаниях А. Эфрон: Эфрон А.С. О Марине Цветаевой. М., 1989.

43. А.С. Эфрон вернулась в СССР в марте 1937 г., была арестована в конце августа 1939 г. и осуждена на 8 лет лагерей, а затем к ссылке. Впоследствии полностью реабилитирована, по возвращении занималась литературным трудом.

44. *Унбегаун* Борис Генрихович (1898—1973), крупнейший европейский славист, профессор, автор многих работ по русскому языку. Уроженец Москвы, солдатом-артиллеристом участвовал в Первой мировой войне, затем стал офицером Добровольческой армии. В эмиграции окончил университет в Любляне и Сорбонну. Работал в Париже в библиотеке Института славянских исследований. В 1943 г. был арестован гестапо и до конца войны находился в Бухенвальде. Кавалер Ордена Почетного легиона. Впоследствии читал лекции во многих университетах Европы и США. С Цветаевой познакомился летом 1935 г. См. письма Цветаевой к А. Тесковой, Прага, 1969, СПб., 1991, а также статью Н.И. Толстого в книге Унбегауна "Русские фамилии", М., 1995. Его жена — Елена Ивановна — дружила со многими русскими писателями (Ремизовым и др.).

45. *Булгакова* Мария Сергеевна (1902—1979; во 2-м браке Степуржинская), дочь известного русского философа и экономиста, протоиерея С.Н. Булгакова (1871—1944),

жившего некоторое время в Чехословакии. Жена Константина Болеславовича Родзевича (1895 – 1988), героя “Поэмы Конца” и “Поэмы Горы” Марины Цветаевой.

46. *Эфрон* Георгий Сергеевич (Мур, 1925 – 1944), сын Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, погиб на фронте во время Великой Отечественной войны.

47. *Эфрон* Сергей Яковлевич (1893 – 1941), муж Марины Цветаевой, публицист, офицер Добровольческой армии, эмигрант. В 1922 г. воссоединился с семьей. Став активным деятелем Союза возвращения на родину, вступил в контакт с НКВД, выполнял его задания и вследствие этого был вынужден бежать из Франции в Советский Союз. Арестован в октябре 1939 г., расстрелян в октябре 1941 г. Реабилитирован в сентябре 1956 г.

48. *Рейсс* Игнатий (в произношении Натальи Борисовны – Райс; наст. имя Порецкий Игнатий Станиславович, 1899 – 1937), советский агент, отказавшийся, по-видимому, возвратиться в СССР, за что и был убит в сентябре 1937 г. в Швейцарии, близ Лозанны. Эфрон был одним из участников этой спланированной в Москве операции, после ее раскрытия в октябре 1937 г. искал спасения в СССР.

49. Копии писем А.С. Эфрон Н.Б. Зайцева-Соллогуб передала А. А. Саакянц (см. Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество, М., 1997. С.652).

50. Наталья Зайцева вышла замуж за Андрея Владимировича *Соллогуба* (1906 – 1996) весной 1932 г. На их венчании 6 марта в соборе Св. Александра Невского присутствовали многие русские писатели эмиграции – друзья Зайцевых.

51. В пригороде Парижа Булонь-Бийянкур Зайцевы жили более тридцати лет, с 1932 по 1964 гг.

52. *Ельяшевич* Василий Борисович (1875 – 1956), историк, экономист и правовед. Свою монографию “История права поземельной собственности в России”, Париж, тт. 1 – 2, 1948, 1951 посвятил “Памяти бесценного друга – же-

ны". В имении Ельяшевичей Ла-Пюжетт, близ аббатства Тароне, департамент Вар, Зайцевы проводили лето 1925 и 1926 гг. В летние месяцы 1940—43 гг. Зайцев жил у Ельяшевичей в Бюсси-ан-От, департамент Йонна. "В память покойной жены своей Фаины Осиповны В.Б. Ельяшевич подарил потом этот дом и все владение русским монахиням." (Б. Зайцев) — впоследствии православный монастырь Покрова Божией Матери.

53. *Элькинд* Леонид Аркадьевич (ум. 1956), кинематографист. Его жена — Анна Владимировна (ум. 1992), деятельница парижской еврейской общины, теща — Генриетта Генриховна.

Следует особенно подчеркнуть, что действия Зайцевых в то время были актом высокого гражданского мужества, — они сами могли попасть в лагерь. В среде русской эмиграции они не были одиноки.

Германские оккупационные власти во Франции уже с самого начала взяли курс на полное истребление евреев. В ноябре 1940 г. из Франции были высланы германские евреи-эмигранты, затем последовали ноябрьские 1940 и апрельские 1941 гг. указы "о еврействе", об обязательном ношении каждым евреем старше шести лет желтой шестиконечной звезды, ограничения на появления евреев в общественных местах и т.д. Параллельно с этим шли аресты. Уже 22 июля 1941г. был арестован близкий знакомый Зайцевых, известный публицист и деятель русского революционного движения, редактор журнала "Современные записки" Илья Исидорович Фондаминский (Бунаков). В ночь с 15 на 16 июля 1942 г. последовали массовые аресты евреев в Париже: было схвачено более 13 тыс. человек, из них около 4 тыс. детей. На парижском велодроме, в лагерях Дранси и Компьень проводилась селекция перед отправкой в Аушвиц: с августа по декабрь 1942 г. из Дранси было отправлено 31963 человека.

Действия германских властей вызвали противодействие части русской эмиграции. "Нет еврейского вопроса — есть христианский вопрос", — заявляла монахиня мать Мария (Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, урожд. Пиленко, во втором браке Скобцова, 1891 — 1945). Она, священник отец Дмитрий Клепинин (? — 1944), писатель Константин Васильевич Мочульский (1892 — 1948), монахиня мать Елизавета (Медведева, 1890 — 1974), многолетний руководитель Русского студенческого христианского движения Федор Тимофеевич Пьянов (1889 — 1969), Игорь Александрович Кривошеин (1899 — 1987; подробнее о нем см. в кн.: К.А. Кривошеин. А.В. Кривошеин. Судьба российского реформатора. Париж, 1973; М., 1993) и др. предоставляли евреям надежные убежища, в частности в монастырской обители Лурмель, выдавали свидетельства о крещении, наконец, как Н.Б. Соллогуб, переправляли преследуемых на неоккупированную территорию. Как известно, мать Мария, ее сын Юрий, священник Клепинин погибли в Равенсбрюке и Освенциме, Пьянов встретил освобождение в Бухенвальде. В Освенциме погиб и Фондаминский (ноябрь 1942 г.) Подробнее см. в кн. протоиерея Сергия *Гаккеля*: Мать Мария. Париж, YMCA-Press, 1980.

7 июня 1942 г. мать Мария написала стихотворение — по нашим сведениям, оно не печаталось в России — см. *Приложение*.

54. О бомбардировках Парижа см. у Зайцева "Звезда над Булонью" и в дневниках 1941 — 44 гг. (*Голубая звезда, Дни*).

55. Над переводом — "ритмическою прозой, строка в строку" — "Ада" Данте Зайцев работал почти полвека, начав его, по подсказке Муратова, еще в России осенью 1913 г. Переговоры о напечатании в разное время велись с разными издателями (Сабашников, Некрасов, Гржебин), но издательства исчезали, прекращая свою деятельность. В 1922 г. в Москве с помощью маленького изда-

тельства “Вега” Зайцев выпустил небольшую книжку “Данте и его поэма”. Переводы отдельных частей поэмы с 1928 г. публиковались в периодике, вызывая восторженные отзывы, однако полный перевод увидел свет лишь в 1961 г. в Париже в издательстве YMCA-Press. Вот что писал о работе Зайцева известный поэт Николай Оцуп в “Современных записках” (1928 г., кн. 27): “... Я не знаю, много ли песен ‘Божественной комедии’ переведено Зайцевым, мне с трудом верится, что все они будут им пересказаны, но два отрывка, уже напечатанные, изумительны, вот почему: Зайцев не сохранил строгого и прекрасного строя итальянских терцин — ни одной рифмы, ни следа чисто стихотворных очарований поэмы, — и все же главное в поэзии Данте (высокая скупость слов, их суровая энергия и несравненная выразительность) уцелело.

Мне думается, что своим прозаическим переложением одного из совершеннейших в мире поэтов Зайцев окончательно разъяснил себя. Его рассказы и романы давно уже заставляли подозревать в нем поэта. Все достоинства и недостатки, свойственные настоящей поэзии, отличают прозу этого писателя”.

Для характеристики многолетних занятий Зайцева интерес представляет и его не публиковавшееся до сих пор письмо к советскому историку музыки и литературы Игорю Федоровичу Бэлзе (ОР РГБ, ф. 357, к. 10, ед. хр. 42, л. 27): см. *Приложение.*

56. О Буниных, как отмечалось, Зайцевым написано много и до, и после их разрыва в 1945—46 гг.: см. в кн. *Голубая звезда*, *Братья-писатели*, *Дни*.

С Верой Николаевной Муромцевой Бунин познакомился у Зайцевых, в их московской квартире, 4 ноября 1906 г. Обвенчались они в Париже в 1922 г.

57. *Кузнецова* Галина Николаевна (1900—1976), писательница, жила в Грассе у Буниных с 1927 по 1942 г., объект

его последнего "серьезного и мучительного романа". Книга Кузнецовой "Грасский дневник" (Вашингтон, 1967; М., 1995) содержит ценный историко-литературный материал. Письма Зайцева к Кузнецовой опубликованы в "Российском литературоведческом журнале", 1993, № 2.

Зуров Леонид Федорович (1902—1971), писатель, офицер Северо-западной армии Н. Н. Юденича, затем в эмиграции — в Эстонии и во Франции. Жил у Буниных в Грассе с 1929 г., после смерти В.Н. Буниной — ее душеприказчик и наследник бунинского архива, переданного им профессору Милице Грин (Великобритания).

58. В 1945—46 гг. Бунин, как известно, стал объектом пристального внимания Москвы и, соответственно, советского посольства в Париже, "вокруг него начинается возня дипломатического корпуса и разведки" (см.: Известия, 1996, 6 нояб., № 210, К. Кедров). После указа советского правительства о восстановлении гражданства многие эмигранты стали брать советские паспорта (Ремизов, Рощин, адмирал Вердеревский, Кривошеин), а в дальнейшем и уезжать в СССР. Измученный и телесно, и душевно, Бунин колебался, тем более, что в Москве обещали издать его сочинения — после долгого перерыва и поношений. Рассчитывая "вернуть" его в СССР, с ним заигрывали, приглашали в советское посольство. Вот что писал, например, после одной из встреч с Буниным тогдашний советский посол во Франции А.Е. *Богомолов* (1900—1969): "В 17 ч<асов> ко мне пришел И. Бунин. Ему 75 лет, но он держится бодро. Беседа шла в духе обычного 'светского' разговора и никаких деликатных вопросов не захватывала. Он любит выпить, крепко ругается и богемствует в среде своей писательской братии. У меня на приеме старик держался, как полагается на приеме у посла, немножко рисуясь и кокетничая. Приглашу его к себе позавтракать, он человек интерес-

ный"(цит. по статье в "Известиях"). В июле 1946 г. с Буниным встречался в Париже К. М. Симонов, доверенное лицо Сталина. В какой-то мере поддавшись нажиму, Бунин вышел из Союза русских писателей в Париже. Все эти достаточно опрометчивые действия — "некоторые неосторожные шаги", по определению Зайцева, — и довольно преходящие настроения Бунина, его надежды на возможность перемен вызвали резкое осуждение Зайцева, твердо считавшего, что для эмиграции любые контакты с советской властью невозможны, не нужны и недопустимы. Дальнейшее развитие событий показало, что он оказался прав. Сыграли свою роль и разного рода сплетни и инсинуации всяческих "доброжелателей". В результате наступил разрыв, по-видимому, болезненно переживавшийся обеими сторонами. См. очерк Зайцева "Тринадцать лет" (*Голубая звезда*).

59. "Повесть о Вере" была напечатана газетой "Русская мысль", Париж, 1967 и альманахом "Мосты", Мюнхен, 1968.

"Другая Вера" — "Новый журнал", 1968–69, кн. 92, 95, 96, 98, 99, 100.

60. *Паустовский* Константин Георгиевич (1892–1968) посетил Зайцева 24 декабря 1962 г. Зайцев ценил творчество Паустовского, неоднократно писал о нем: см. в кн. *Голубая звезда*, *Дни*. Несомненный интерес для истории их отношений представляет публикуемое нами письмо Зайцева к Паустовскому (ОР РГБ, ф. 357, к. 10, ед. хр. 42, л. 31 об.): см. *Приложение*.

Акад. Михаил Павлович *Алексеев* (1896–1981) посещал Зайцева в 1962–63 гг. В 1960-е гг. у него бывали и другие известные ученые и писатели из России: Илья Самойлович *Зильберштейн* (1905–1988), Сергей Александрович *Макашин* (1906–1989), Владимир Алексеевич *Солоухин* (1924–1997), Наталья Петровна *Кончаловская* (1903–1988).

Казаков Юрий Павлович (1927—1982) был в Париже весной 1967 г. Запись его беседы с Зайцевым см.: "Новый мир", 1990, № 7 (публ., подг. текста, предисл. и примеч. Т. Судник и И. Кузьмичева).

Булгакова Елена Сергеевна (1893—1970), жена писателя М. А. Булгакова (1891—1940), была в Париже в конце 1967 г.

Известно также, что с Зайцевым поддерживали переписку А.В. Храбровицкий, О.Н. Михайлов, В.И. Лихоносов, как, вероятно, и другие люди из советской России, помнившие о его творчестве.

61. О Борисе Леонидовиче *Пастернаке* (1890—1960) Зайцев писал неоднократно, около десяти очерков, статей и некрологов в 1958—62 гг.; см. в кн. *Серебряный век*, *Дни*.

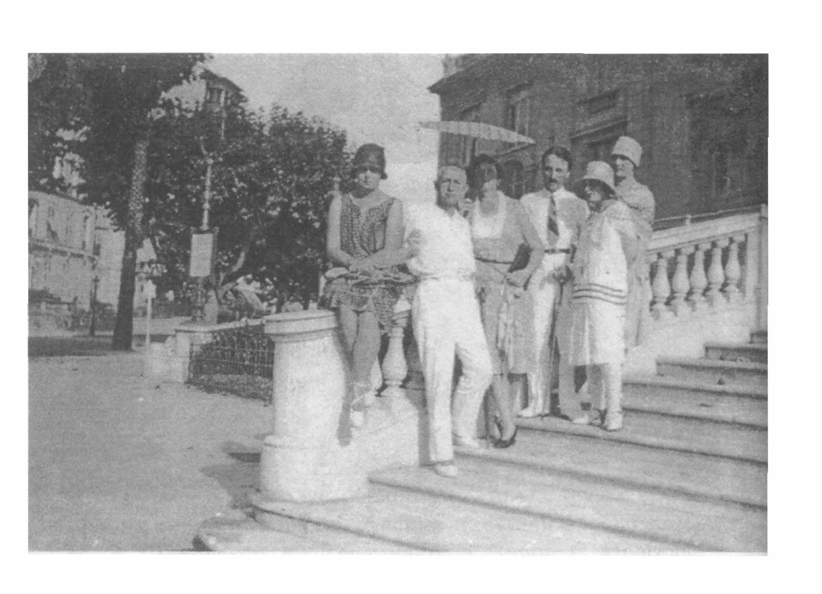
62. 10 февраля 1971 г. Зайцеву исполнилось 90 лет. На торжественном банкете, устроенном по этому случаю, среди прочих присутствовали: русские писатели И. Одоевцева, З. Шаховская, Ю. Терапиано, Л. Зуров, С. Прегель, Н. Кодрянская, Я. Горбов, художник Ю. Анненков, проф. Э. Ло Гатто, П. Паскаль, А. Гранжар, М. Окутюрье. В Советском Союзе это событие прошло незамеченным.

Постыдное решение французских властей в отношении Зайцева, по-видимому, было продиктовано настоятельными, не менее постыдными, требованиями властей советских, которые вплоть до самого конца 1980-х гг. продолжали смертельно бояться русской эмиграции.

Мамонтова Ирина Сергеевна (род. 1913), художница, близкий друг семьи Зайцевых-Соллогуб.



Наташа Зайцева ("девочка с косичками")
с матерью Верой Алексеевной. 1923



Бунины, Зайцевы, Г. Кузнецова. Ницца, 1929



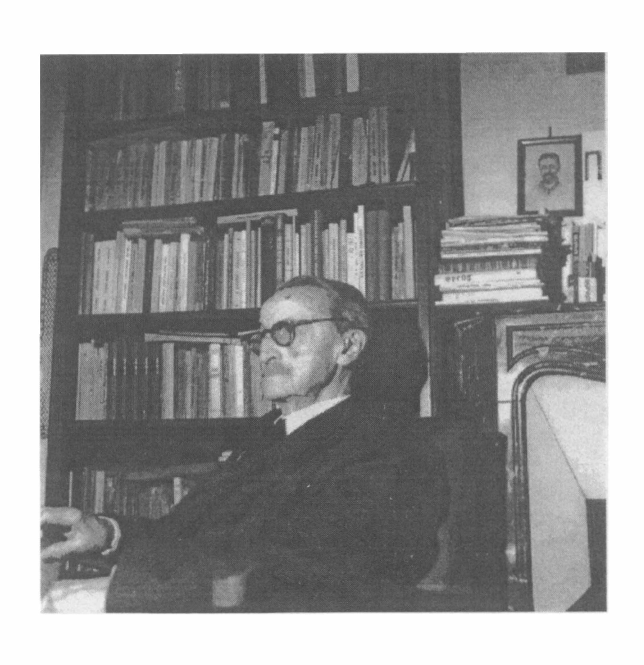
Борис Зайцев с женой Верой Алексеевной
и дочерью Наташей. 1931



Наташа Зайцева (в центре)
с Ариадной и Сергеем Эфронами.
Париж. Середина 30-х годов



Одна из последних фотографий
Б. Зайцева с Верой Алексеевной. Булонь, 1963



Борису Константиновичу Зайцеву — 90 лет.
Одна из последних фотографий



Наталья Зайцева-Соллогуб





ПРИЛОЖЕНИЕ

Борис Зайцев

ДАВНЕЕ

О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями.

Луначарский

Этого молодого блондина, в пенсне, веселого, довольно благодушного встретил я некогда в Петербурге, в доме знакомых — студента-естественника и жены его, акушерки. Сам я тоже студент. Место сумрачное, где-то у Пяти Углов. Маленькая квартирка, таинственные личности, "явки". Сам Ленин там бывал (но я его никогда не видел). Совсем нет солнечного луча в этом мире, где приятельница моего детства, друг хозяев, наливала с благоговением Ленину кофе и где сильно попахивало обстановкой из "Бесов".

Но человек молод, ему все еще интересно, мир так неясно-огромен, в нем всему есть место — и жаргону с "массовками", "студенчеством", "рабочими массами" и "Путейкой", и мечтам, и тоске.

Какие-то личности появляются, довольно таинственные, шепчутся с хозяином — исчезают. Я тут случайно, из другого мира. Думаю, здешние относились ко мне иронически ("не наш"). Но вот этот блондин как-то приветливей, вносит оживление, смех, не чужд искусствам — вообще впечатление от него более легкое, даже с каким-то просветом.

Петербург ушел, вместе с раннею юностью, одиночеством и заброшенностью. В Москве легче. И жизнь не та. Намечается будущий путь. Крылатым сиянием входит в него спутник — уже навсегда.

В этой ранней московской жизни, на первых литературных шагах кое-где Луначарский: воспоминание о Петербурге, но беглое. На страницах "Правды", где печатаешь первые свои рассказики и подрабатываешь корректурой, длиннейшие статьи Луначарского, странного соседа. Неразборчивейший почерк, над которым мучишься из-за корректуры, но все это только преддверие. Журнал-то марксистский, а литературой ведает в нем Бунин. Его скоро выставят. Меня тоже. Мы, конечно, неподходящие. Тут нужны Ленин, Скворцов, Луначарский, Богданов.

И вот вновь идет жизнь, о Луначарском не думаешь, вновь бываешь в Петербурге, но уже вдвоем, уже молодым писателем, совсем по-другому, и все тот же ветер молодости выносит в более просторный мир.

Весна в Париже, а там май, через Швейцарию, мимо Лаго Маджиоре скатываемся в благословенную Италию, сияющую, светозарную Флоренцию, залитую златистым, голубоватым, реющим и волшебным.

В городе этом, как из-под земли, и тоже вдвоем с молодой женою — Луначарский. Это уже не подполье Пяти Углов. И Лениным тут не пахнет. Тут друзья наши, близкие и покровители — Боттичелли, Беато Анджелико, Донателло, Кастаньо и сонм иных. Все настоящее, мировое.

Надо сказать: Луначарскому это нравилось тоже. Он любил тоже Флоренцию, в нем была жизненность и порыв к искусству, он и сам кое-что писал по нашей части (но любительски и легковесно).

Во Флоренции мы превесело вчетвером с ним и дамами нашими заседали в разных ресторанчиках "Маренго", на via Nazionale, распивая кианти, он горячился, ораторствовал — теперь о флорентийской живописи. Пенсне его прыгало на

носу, он вдруг обнимал и целовал Анну Александровну (очень был пламенен), а потом опять кричал о Боттичелли. Единственно чем доезжал он меня тогда — многословием. Глаза соловели у слушателя, а остановить его не было возможности.

И мы ходили вместе по Флоренции, и раз очень весело и смешно сидели на вечерней иллюминации над Арно — на парапете набережной, как-то верхом сидели, хохотали, дамы взвизгивали от фейерверков и забавлялись как хотели.

А потом мы уехали в Виареджио, к морю, и они нам очень помогли: дали адрес в рыбацкой части тогда еще очень скромного Виареджио — у каких-то синьоров Luporini. Луначарские сами жили раньше у них и оставили, видимо, по себе хорошее воспоминание: раз мы друзья "dei signori Lunaciari", так мы тоже будто свои. (Италия есть Италия.) Скромная комнатка рыбацкого домика (платили, кажется, лиру в день, 37 копеек). Madonna над кроватью с тюфяком, набитым морскими травами, светло-голубые крашеные стены. Стол и два стула. Да мы, собственно, мало и бывали в ней: купались, бродили, вдыхая солнце и прелесть Италии, ездили в Пизу. Провели тут недели три идиллически-райски. Потом возвратились во Флоренцию. Луначарские были еще там, но вид иной: кислый и отощалый. Дело простое: уже неделю сидели почти без гроша. Анатолий Васильевич снял пенсне, протер, опять надел и дернул слегка за шнурок. Вид несколько смущенный.

— Не могли ли бы вы дать мне взаймы сто лир? Это бы меня очень выручило.

Сейчас кажутся те времена младенческими. Сто лир! Но комната в "Albergo Corona d'Italia" стоила три лиры, завтрак в "Маренго" лиры полторы.

Я повел всех в это "Маренго", угощал, пропили мы лир десять, у Луначарского в кармане было сто, он опять хохотал, целовал Анну Александровну, к некоему удивлению гарнизонных офицеров, столовавшихся здесь же, несколько опереточных, в голубой форме и с длинными безобидными саблями.

В окно выскакивала на улицу собака здешняя, весело впрыгивала обратно. Маленький, черноволосый Джиованни, наш приятель, вихрем носился по ресторану с макаронами, бифштексами, фиасками кианти. Только и слышалось его: "Pronti!" Все имело необыкновенно мирный вид.

На другой день мы уехали в Равенну, по пути уже домой. А Луначарские остались со своими ста лирами, ожидая подкреплений.

В Москве контора Юнкера выплатила мне эти сто лир довольно скоро.

* * *

И вот идут годы, и чем дальше, тем все менее похоже на идиллию Флоренции и Виареджио. Луначарский в это время для меня за сценой. Вряд ли даже встречались мы в России между маем 1907 и ноябрем 1917 года. Тут все фантастически изменилось. Просто другой мир. Осень 1917 года мы проводили в деревне, тульском именьице отца. А по России шли события, значение которых мы недооценивали.

Я попал в Москву после октябрьского восстания. Москва была разбита, не столько материально, сколько внутренно. Что-то сломилось. Во всем хаос. Так чувствовали мы, интеллигенция. Победители в обмотках и с наганами наверно по-другому.

Луначарский, с которым мы пили кианти во Флоренции, теперь министр, "народный комиссар", кажется, по народному образованию.

Вот тут произошло нечто, вовсе не похожее ни на ресторанчик "Маренго", ни на споры о Боттичелли. Мы вступали в страшную и кровавую полосу, даже и не представляли, сколь кровавую — в ней воспоминание, связанное с Луначарским, вызывает через много лет усмешку.

Во время восстания снарядами большевистской артиллерии были повреждены некоторые купола соборов в Кремле и, кажется, сбит крест. Сравнительно с тем, что творилось

новою властью позже, это очень мало — сколько церквей потом вовсе разрушили, начиная с храма Христа Спасителя, сколько епископов, священников замучили, сколько истребили крестьян и интеллигентов — рядом с этим шрапнельные ранения на куполах... Но *тогда* это привело меня почти в истерическое негодование. В Москве не вся еще пресса была казенная. Существовала, например, еженедельная газета "Власть Народа" (кооператоры-демократы). Думаю, именно в ней я поместил открытое письмо Луначарскому. Это было что-то невообразимое. Дорого обошлись ему московские купола. Что именно писал, не помню, но по-моему — чуть не площадная брань. Кажется, я упрекал его в сумасшествии, алкоголизме, и наверное помню, кончалось тем, что *никогда я больше не подам ему руки.*

Как могла газета напечатать такую штуку, неведомо. Но моя шрапнель била уже совсем мимо. Луначарский оказался совершенно ни при чем. Мало того — и в этом черта комическая: сам он был в ужасе от разрушений, крови и насилий, в частности, и от повреждения древностей. До такой степени, что заявил Ленину о выходе из партии, за что получил такой нагоняй, что поспешил отступить. Ни мне, ни газете за письмо не попало. Луначарский же, я уверен, его и не читал.

* * *

Положение Луначарского в революции оказалось довольно неудобным. Сам он был интеллигент и человек вовсе не кровавый, а попал в очень уж теплую компанию. "Они" не весьма его жаловали. Он старался смягчать, заступаться, поддерживать артистов, писателей, налаживать академические пайки. По этой части кое-что сделал, но в террор и казни смягчения никакого не внес.

В 21—22 гг. мы жили в самой Москве. Это было время НЭПа, сравнительно легче. Луначарский устраивал иногда в Кремле у себя чтения и приемы, приглашал и писателей некоммунистов. (Бывали у него Вяч. Иванов, Балтрушайтис,

Гершензон.) Мне, после открытого письма, не так уж подходяще было бы встретиться с ним, да и желания никакого не было. Так что пьес его я в Кремле не слушал.

Но по делам Союза Писателей приходилось нам, Правлению, ходить иногда "в Орду" — хоть и не были мы средневековыми русскими князьями. Выхлопатывали разные льготы, пайки, охранные грамоты. Ходатайствовали за арестованных. Но тут больше приходилось иметь дело с Каменевым, тогда председателем Московского Совета. Все-таки, однажды, были и у Луначарского, в Кремле. Помню, ухитрился я както тогда, в группе сотоварищей своих, не поздороваться с ним. Помню, стараясь выказать свою независимость и презрение к существующему строю, я как-то особенно нагло развалившись в кресле, раскачивал его, презрительно осматривал, заставлял скрипеть, чтобы наглядно показать, как ничтожно это высокое место — "кабинет кремлевского вельможи" (смешно, конечно, ребячество, но тогда делалось "от всего сердца").

Не всегда мне так везло с Луначарским.

На Знаменке жил мой издатель и приятель давний, Зиновий Исаевич Гржебин. Был он близок к Горькому, но навастривал лыжи за границу, хотел — и устроил, наконец, собственное издательство в Берлине начала 20-х годов. А пока занимал отличную квартиру недалеко от Румянцевского музея.

Я у него бывал нередко, по литературным и личным делам.

Помню великолепный подъезд, двойные стеклянные двери, светло, тепло, только швейцара нет, а то будто довоенный быт.

Вот подымаюсь однажды с улицы на несколько ступеней, берусь за ручку двери — она покорно отодвигает ко мне свое стекло, а выходящий из дома человек, в отличной шубе и меховой шапке, тянет к себе другую, внутреннюю дверь, тоже стеклянную. Через несколько секунд оба мы, нос с носом, в этой ловушке между дверями, шуба (наверно отобран-

ная у буржуя) знакомым жестом поправляет пенсне, взглядывает на меня и оказывается Луначарским.

— А-а, здравствуйте! — и приветливо, как ни в чем не бывало протягивает руку. Будто мы в Италии, сейчас начнет разглагольствовать насчет Боттичелли (только сто лир теперь ему не нужны, а там шубы такой и бобровой шапки не было).

Да, и я протягиваю ему руку. После торжественного печального заушания — вот тут, между анафемскими этими дверями и протягиваю... А потом скорей — шмыг в переднюю, в подъемник, и к Зиновию Исаевичу. Там свой мир, литература, издательство, давняя доброжелательность с обеих сторон. Рассказываю ему, он смеется.

— Анатолий Васильевич только что у меня был.

Я тоже улыбаюсь, но смущенно.

— Ведь в печати заявил, что никогда ему руки не подам.

— Мало ли что в печати. А тут вышло непечатное.

И мы стали говорить о другом — о готовящемся нашем отъезде, о книгах моих, которые он собирался издать в Берлине.

Так все и вышло. И в Берлин попали, и шесть томов моих выпустил он там — Гржебину, Зиновию Исаевичу, во многом я обязан тем, что попал на Запад. Его уже нет в живых. Он скончался здесь, в Париже, гораздо позже. Благодарную память о нем храню.

* * *

Я никогда не видел больше Луначарского. Он продолжал быть "Наркомпросом". Думаю, все меньше и меньше подходил к эпохе, особенно когда умер Ленин и Сталин забрал все в свои руки.

Почти все люди того времени ушли. Умер и Луначарский. Теперь, издали, улыбнувшись на многое, но и вздохнув, скажешь: "Ну, какой бы там ни был Анатолий Васильевич, слава Богу, что умер не в подвале ЧЕКА".

Каменев

Времена доисторические. Еще до японской войны. Москва, Университет. Был у меня знакомый один, думаю, социал-демократ, но умеренного толка. Старше меня и образованнее. Он мне нравился, негромкий и приветливый, с русскою интеллигентскою бородкой.

Вот он пригласил меня к себе на вечеринку. Русская студенческая вечеринка! Не времен Герцена или Толстого юного (без мундиров и жженки), нечто *после* Достоевского. Чай с лимоном и папиросы, сизый дым из комнаты и споры, споры...

Не помню о чем спорили, наверно, о политике. Студент, довольно кудлатый, с широким, открытым лицом, с серыми приятными глазами, сняв тужурку и расположившись верхом на стуле, так что спинка служила ему опорой и кафедрой, что-то толково и неглупо говорил. Его слушали, видно было, что он здесь известен, что-то за ним есть.

Хозяин нагнул ко мне бородку, блеснул стеклами пенсне, шепнул:

— Выдающаяся личность. Умен и начитан. Лев Розенфельд. Я вас с ним особо познакомлю.

И действительно познакомил. И действительно "Лев Розенфельд" произвел неплохое впечатление. О талантах его политических я не мог судить, да мало это и занимало. Но так, сам по себе, он мне скорее понравился.

Знакомство это не укрепилось и не удержалось. Все же в те годы мельком, то в Университете, то, кажется, у знакомого моего, я Розенфельда встречал. Но никак не думал, что почти через четверть века встречу его в условиях, тогда показавшихся бы фантастическими.

* * *

Эти условия были — революция, о которой я тогда, по молодости лет, а может быть и дурости, вовсе не думал. Но она пришла, не спрашивая, нравится ли нам это или нет.

Пришла как зверь, но и как суд над многими делами прошлого.

Фантастичность и в том, что такой Луначарский, занимавший у меня сто лир, вдруг стал министром, что кудлатый студент Розенфельд, переименовавшись в Каменева, обратился в Председателя Московского Совета. А еще в том фантастика, что и сам зверь — так всегда бывает в революциях — сам на себя обратился, пожрал своих же множество.

Как и Луначарский, Каменев был образованный, тоже склонный к литературе и искусствам человек. Жена его — grande dame революции, заведовала театрами, выставками картин, поэты писали ей стихи... Каменевский либерализм зашел так далеко, что как московский "генерал-губернатор" он закрыл на третьем номере "Вестник ЧЕКА", за открытый призыв к пыткам на допросах. (Номерок этот хранился у покойного Осоргина.) Самый подходящий документ для человеколюбивейшей русской литературы! Толстой, слава Богу, до него не дожил. (Позволили ли бы ему сказать громко, как некогда: "Не могу молчать".) Не дожил и Чехов. Интересно бы знать, есть этот номерок в государственных библиотеках России сейчас или благоразумно исчез?

В новом "волшебном" мире мы все-таки жили, копошились, даже писали кое-что, даже Союз Писателей в Москве был у нас — без коммунистов! Карабкаясь, кое-как цепляясь, стараясь пребыть независимыми, продолжали путь. На пути этом Каменев попадался не раз, в облике заступника и покровителя.

Вот я иду к Каменеву посланцем от Союза. Подымаюсь по лестнице бывшего генерал-губернаторского дворца. В светлых комнатах бегают резвые, но без развязности секретарши. За зеркальными стеклами окон, как призраки, безмолвно проплывают извозчики в санках, детишки с салазками, бредут граждане молчаливо, со своими заботами и горем.

После некоего ожидания пускают и к Каменеву в кабинет. Вот он кудлатый студент моей юности, за отличным сто-

лом, спиной к зеркальной Москве, где медленно, беззвучно, горестно идет повседневность.

Принял он меня не без любезности, с оттенком покровительственности. Удивило меня, что он поджимал под себя ноги в носках — ботинки стояли рядом: будто жали они ему, он отдыхал.

В Харькове задержали Ильина, Арсеньева и французского профессора Мазона. Союз хлопотал об освобождении их.

Каменев водит пальцем по каким-то спискам.

— За что взяли?

— Ни за что.

— Посмотрим, посмотрим...

Телефонный звонок. Грузно, несколько устало Каменев в своих носках берет трубку.

— Феликс? Буду, буду. Насчет чего? Нет, приговор не приводить в исполнение. Буду непременно.

Дзержинский. Из телефонной трубки — не райское.

Каменев положил трубку.

— Если не виноваты, конечно, выпустим.

* * *

Мне повезло. Их действительно выпустили. Меня стали считать как бы "спецом по Каменеву". Возникло мнение, что мне он не откажет, и по малым житейским случаям Союза к нему направляли меня.

А случай, например, такой: надвигается голод. Гершензон разузнал, что у Московского Совета есть двести пудов муки, как бы с неба свалившихся. Хорошо бы до них добраться.

И добрались. На этот раз ходили в Орду вдвоем: я и Гершензон. К тому же Каменеву, туда же. Гершензон, маленький, извилистый, нервный, чем-то напоминавший черного жучка, волновался, вместо "здравствуйте" говорил "дадуте", и при всей своей высокой одаренности, духовном аристократизме, обладал загадочным тяготением к новой власти. Казалось бы, все обратное: он — индивидуалист, смиренный книж-

ник, самый мирный человек — но вот сила и беззастенчивость, ломка и грубость действовали на него магически — быть может, на женственную сторону его души. Он бормотал что-то совсем неподходящее. Меня стеснял немножко тон этого черно-заросшего волосами худенького человечка с Каменевым — слишком он робел, чуть не расстилался. Давал повод держаться с ним снисходительно — покровительственно.

Вообще-то наша миссия была нелегкая (внутренно); но подгонял голод. Миссия удалась. Каменев держался хотя покровительственно, все же вполне прилично. "Хлеб наш насущный" мы получили. Вскоре по зимним улицам Москвы везли из склада на салазках кульки этой муки и Бердяев, и Айхенвальд, и Гершензон, и Осоргин, и я, и другие.

Действительно, мне на Каменева везло. Позже, от Книгоиздательства Писателей, мне пришлось перед Московским Советом защищать нашу квартиру издательства — против Коминтерна! — который хотел ее у нас отобрать. К великому моему изумлению, при явном благоволении Каменева, помещение нам оставили. Помогло то, что у самого Московского Совета была тогда какая-то распря с Коминтерном. Но мы, писатели, на этом выиграли.

Так что, как и Луначарский, Каменев всегда оказывался на стороне интеллигенции. Летом 21 года он же возглавлял неудачный интеллигентский Комитет Помощи Голодающим (Кускова, Прокопович и др.).

Обо всем этом подробнее в "Москве" моей. Позволяю себе только напомнить бегло насчет Каменева. Сила и власть все же сила и власть, налагают оттенок. Помню, после одного заседания Комитета этого мы вышли с Осоргиным вместе на Собачью Площадку. В Одессе был арестован в это время писатель Соболь. Я просил Каменева выпустить его.

Он небрежно спросил:

— Какой Соболь? Который написал роман "Пыль"?

— Да.

— Плохой писатель. Пусть посидит.

В 22 году Каменев помог мне выехать за границу после сыпного тифа, перенесенного в Москве, — в Берлин "для лечения". Так что Гржебину по одной линии, Каменеву по другой я обязан — почти наверное можно сказать — сохранением жизни.

Жизнь же самого Каменева протекала в Москве и дотекла до страшного конца. В свое время он закрыл "Вестник ЧЕКА", теперь же эта Чека добралась и до него. "Приговор не приводить в исполнение" — слышал я некогда в генерал-губернаторском доме. Так говорил Каменев. Но при сталинско-ежовском терроре кто-то сказал о самом Каменеве:

— Приговор привести в исполнение.

"Судьба загадочна, слава недостоверна". Каменев сошел в подвал Чека, как и Бухарин, Рыков, и другие. Сошествие во ад — и уж не вышел.

1936

Открытое письмо Б.К. Зайцева А.В. Луначарскому

М<илостивый> Г<осударь> Анатолий Васильвич!

В мае 1907 г. во Флоренции нам приходилось встречаться довольно часто, вместе бродить по городу, который вы любили, беседовать об итальянских художниках, делить маленькие жизненные невзгоды и быть в тех добрых отношениях, которые естественны между писателями, имеющими если не все, то некоторые общие устремления.

Прошло десять лет. Ныне, игрой фатальных общественных сил, вы сделались "министром". В вашем письме-крике о выходе из "правительства", – письме, связанном с вестями о разрушении Кремля, насилиями и террором вашей партии, я как будто почувствовал того человека, с которым был знаком. Я не удивился, что вы пожалели сокровища Эрмитажа, кремлевские башни, дворцы, зубцы на стенах, напоминающие Castel Vecchio в Вероне.

Но это была минута. Вы опомнились, и на другой же день вернулись. Вы не протестовали против цензуры социалистических газет, против принятого центральным комитетом вашей партии решения о закрытии всех "буржуазных" газет – вы, русский писатель!

Вы пошли еще дальше. Уже от своего имени, как плод собственного литературного дара, выпустили вы циркуляр по своему министерству, где говорится, что учителя, бойкотирующие учителей-большевиков и вовлекающие в это учащихся, будут подвергаться аресту.

Я никогда не считал вас невменяемым. Насколько знаю, вы не страдали психическими заболеваниями. Вы и не алкоголик. За действия свои вы отвечаете и не можете не понимать, что они хуже действий, например, покойного Кассо.

Остается предположить, что в вас есть черты, которых раньше я не замечал, прискорбные черты нравственной одичалости.

Всякой снисходительности пределы есть. Нельзя быть писателем и дружить с полицейским. Сколь ни печально и ни тяжело это, все же должен признать, что с такими "литераторами", как вы, мы, настоящие русские писатели, годами работающие под стягом искусства, просвещения, поэзии – общего ничего иметь не можем. Я пишу это только за себя. Но уверен, что никто из соратников моих не будет с вами, равно и ни одна литературная организация.

За вами – штыки и солдаты, могущие арестовать любого из нас, без суда и следствия держать в тюрьме. За нами – традиция великой русской литературы, дух истинной свободы и правды.

Борис Зайцев

16 ноября <1917 года>
С<ело> Притыкино

Письмо опубликовано в московской газете "Власть народа", 1917, 23 ноября.

Письмо Б.К. Зайцева М.А. Алданову

6 июля 1936

Дорогой Марк Александрович, спасибо за всегдашнее доброе и товарищеское ко мне отношение. В “П<оследних> Н<овостях>” я могу печататься; считаю эту газету анти-большевицкой, а если с нек<оторыми> ее мнениями не согласен, то были и в “В<озрожден>ии” вещи, которым никак не сочувствовал.

Прислать сейчас еще ничего не смогу. Приеду, тогда будем говорить более “предметно”.

Тут чудесно. Юг все сильнее засасывает. Наташа скоро переезжает в Ниццу, мы временно к И<вану> А<лексеевичу>, (около 15-го), и потом вновь думаем в Ниццу — очаровательный это город. Вчера мы были там с Верой у Кантакузиных. Весь город в трехцветных флагах — ответ, и довольно внушительный.

В четверг маркиз Паулуччи, внук толстовского (из “В<ойны> и М<ира>”), везет меня на своей машине в Ментону. Там живет 88-илетний генерал Мальцев, знавший 50 лет тому назад моего отца и выразивший желание меня повидать.

А что “Совр<еменные> Зап<иски>?” У меня тревожное чувство. Не пригласить ли негуса почитать в их пользу?

Дружески жму руку. Привет сердечный Вам
и Татьяне Марковне.

Ваш Бор. Зайцев

P.S. "Бельведерский торс" — очень интересно. Жалею, что пропуски. К концу Вы приберегаете, видимо, нечто весьма горестное и едкое. Стрега очень симпатичная, но Вазари ошибается, думая, что в стреге все дело.

Борис Зайцев

М.О. ЦЕТЛИН

С Михаилом Осиповичем и Марией Самойловной я познакомился в самом начале революции. Они только что приехали в Москву из Франции кружным путем через Америку, Японию — в девятьсот семнадцатом году.

Москва тогда кипела. Большевики, меньшевики, эсеры, анархисты, имажинисты, футуристы, просто какие-то бандиты — всё варилось всё вместе. Было трагическое, было историческое, было и гнусное. И шутовское. Литература большая молчала. Те, кому так уже хотелось выскочить, что-то сорвать, лезли вперед — за силой и победителями.

В этой-то сутолоке, в каком-то литературном кафе нас и познакомили. Никак уже не подходил Михаил Осипович стилю крикунов, футуристических, размалеванных физиономий, наглых имажинистов. Тихий и застенчивый человек европейского (в азиатчине Москвы революционной) вида, слегка прихрамывающий, с палочкой, негромко говорящий. Мало похоже, что он тоже был революционер, эсер, в 1906 году вынужденный бежать из Петербурга за границу и вернувшийся только с победой революции. Но его сразу можно было определить: поэт, писатель.

От первых встреч осталось лишь общее, изящное и милое ощущение — да, это в каком-то роде "свой", сотоварищ литературный, с ним быть и можно, и приятно. А потому я и начал посещать Цетлиных. Встречались мы и у Алексея Толстого. Все-таки, это было бегло. Из встреч тех больше запомнилась последняя, весной 1918 года.

Цетлины поселились где-то между Арбатом и Поварской. У Марии Самойловны родилась дочь, в доме младенец, но жили тогда в Москве еще просторно, и Цетлины собирали иногда по вечерам литературную братию. Вот в тот вечер много народу сидело за большим столом в столовой, очень яркий свет, шум, говор — ужин московский, и средь гама литературных гостей, тихий хозяин за всем следит, угощает, подливает вина, успевает с каждым сказать несколько слов — бесшумно все это и приветливо.

Против меня сидел Алексей Толстой, зычно рассказывал, хохотал, и нельзя было не хохотать с ним — что за актер, что за дар комический! Марина Цветаева вертит папироску, нервно и хрупко, сыплет колкими и манерными словечками. Болезненного вида Ходасевич. Есенин — совсем юный еще паренек, русачок, волосы в скобку, слегка подбоченясь, круглый и свежий, даровитый, еще не пропившийся, не погубивший дара своего и себя. Изящно-таинственная Соня Парнок — с умными, светлыми глазами, русская Сафо. Эренбург. А со мной рядом совсем странный тип, молчаливый брюнет, волосатый, нерусского вида, он кутается (в бурку?) с видом Марлинского. Но нас никакой буркой не удивишь, мы видали в то время и людей в клоунских одеяниях, и с накрашенными щеками, и тихих безумцев как Хлебников, называвших себя председателем земного шара. Помню, однако, что не было Маяковского, чему мог только радоваться. В доме культурном и литературном, где в задней комнате спала девочка, этот тип со скандалами своими мало был бы уместен.

Но ничего такого и не случилось. Есенин с Дункан еще не познакомился, остальные были вообще приличны. После ужина читали стихи. Марина Цветаева стрекотала острые и нервные свои строки, с такими же переломами как сама, с таким же жеманством как всегда — с еще свежими, иногда и пронзительными рифмами. Соня таинственно полураспевала сафические строфы — эта спокойно, скорее задумчиво,

тоже покуривая папироску, но совсем по-другому, чем Цветаева (у той все рвалось и горело в руках). Страстно кричал свои стихи Эренбург (в то время сочинял еще разные "молитвы о России").

Просили читать и Михаила Осиповича. Но он как бы смутился — "нет, нет, я сегодня не расположен...", и такой вид был у него, что не хочется выступать, выдаваться... — а вот так тихо, любезно угощать, говорить о литературе с соседом, не напрягая голоса, незаметно и "для себя".

Все это долго тянулось — по времени, но не по самоощущению. Зори конца мая и в Москве ранние. Утро того дня занялось, как ему полагается, нас застало веселыми, расходящимися от Цетлиных. В передней, устроили мы с Толстым дуэль — скрестили трости и фехтовали, от избытка сил, молодости еще не растраченной. Петухами налетали друг на друга, Алексей фыркал, как водяное чудовище, пыхтел, хохотали мы оба. Человек в бурке, сидевший за столом со мной рядом, по фамилии, как оказалось, Блюмкин, мрачно все в бурку свою кутался и молчал.

А потом вышли мы на утренний простор переулка московского, в золоте зачинающегося солнца, и (по легкомыслию своему) все еще ощущали себя в прежней, художнически-артистической богеме, в прежней Москве мирной, хотя какой уж был там мир!

И вот все прошло. Соня Парнок давно скончалась в Москве, ослабев сердцем от тяжелой жизни. Цветаева попала в эмиграцию, в Россию возвратилась — там и повесилась. Ходасевич умер в изгнании. Толстой вовремя переместился к победителям и вкусил, чего надо, но и он умер. Тихо, как жил, угас в прошлом году Михаил Осипович.

Но всех ранее погиб мой сосед в бурке. Правда, в июле того же года он убил германского посла в Москве графа Мирбаха. Я забыл уже для чего — но для чего-то это нужно было партии левых эсеров, к которой он принадлежал.

* * *

Передо мной автобиографическая запись, сухая и краткая: события, даты. Но она много дает. Видишь жизнь личную, чувствуешь даже эпоху. В 1882 году родился в Москве, в Сокольниках, мальчик Михаил Цетлин, в семье достаточной, а вернее богатой. Надо думать — мальчик болезненный, уже четырех лет тяжко хворал. Десяти лет первая встреча, первая скромная репетиция того, что процветет в зрелости чревом инфернальным. Записано: 1892 год — первая высылка евреев из Москвы. И тут же опять — шесть месяцев в постели, болезнь, коксит. Потом обычная наша карьера: гимназия в провинции, на пороге юности возвращение в Москву, всем москвичам памятная гимназия Креймана. И опять коксит, и теперь странствия заграничные, по курортам, очевидно для лечения. Возможность материальная была, и времена такие, когда виз не спрашивали.

Начинается наше столетие. Сразу же революция, тоже еще не настоящая. Михаил Осипович ею захвачен. Он эсер. Только не вижу, чтобы в кого-нибудь бросал бомбы. В него — можно было бросить. Слава Богу, ни в какие тюрьмы и каторги не попал, а под 1906 годом запись: "Поездка с М. в Петербург и бегство за границу". Как типично для времени! Сколько таких эмигрантов российских, интеллигентов, писателей, встречали мы в молодости, туристами разъезжая по Западу — еще собственной судьбы не ведая.

В 1910 году запись важная: "моя женитьба" — это и есть М., Мария Самойловна, а в 1912: "рождение Валечки" — и продолжается заграничная жизнь. Она разнообразна. Веве, Лозанна, Биарриц, Париж, Шамони, Шамби. И наконец то кругосветное путешествие, которое и привело в Москву. Но в Москву ненадолго. Трудно эсерам ужиться с большевиками. Уже под 1918 годом сообщается: "бегство в Одессу", а в 1919 — "возвращение за границу". И теперь уже навсегда.

* * *

В Париже встретились мы в 1924 году. Цетлины жили на rue de la Faisanderie (позже на rue Nicolo). Здесь был у них литературно-политический салон. Элита русская ("звездная палата эмиграции", как говорили недоброжелатели). Тут можно было встретить Милюкова и Керенского, Бунина, Алданова, Авксентьева, Бунакова, Вишняка, Руднева, Шмелева, Тэффи, Ходасевича, позже и Сирина. Здесь я познакомился с Р. М. Рильке. Тут устраивались наши литературные чтения. Встречались мы теперь часто, и чем дальше шло время, тем прочней, спокойнее, благожелательней становились отношения наши. Нельзя было не ценить тонкого ума, несколько грустного, Михаила Осиповича — его вкуса художественного, преданности литературе, всегдашней его скромности, какой-то нервной застенчивости, стремления быть как бы в тени. Единственно за что я упрекал его — что мало пишет. Действительно, была у него книга стихов, но давнишняя, да писал он рецензии в "Современных Записках" (дом Цетлина был как бы главным штабом этого замечательного журнала). Между тем и обстановка и условия жизни к писанию располагали. Он мог писать не для заработка, отличная библиотека под рукой и т. п. Но вот, как неторопливо прихрамывал он где-нибудь на rue de la Pompe, опираясь на палочку, так же не торопился и в литературе и все будто стеснялся. Однако, в начале тридцатых годов выпустил "Декабристов", книгу отличную, живую и полную усердного знания и расположенности к эпохе*. А еще позже, перед самой войной книжку стихов под давним своим псевдонимом Амари — "Кровь на снегу" (тоже о декабрьском деле).

21 июля 1939 года записал он, как бы в наставление себе: "Если Бог даст жизнь и даст мир миру — использовать

---

* См. о ней подробнее в очерке Б. К. Зайцева "Декабристы" ("Русская мысль", 1954, 12 мая, № 657; *Дни*).

оставшуюся жизнь для работы. Постараться выпускать каждый год по книге". Приложен и план — на двадцать лет вперед. Обширно. И Свинбёрн, и Мусоргский, и "Фантазия" опять о декабристах, и переводы, и народовольцы, и история еврейского народа, и дневник, и стихи... — и многое, до 1959 года, до 77 лет. А вот тогда — "если смерть не подумает обо мне много раньше, можно будет подумать о смерти".

Мира Бог миру не дал. От нашествия немцев Цетлиным пришлось в третий раз уезжать — все на запад, на запад... Но и там, основавшись в Нью-Йорке, Михаил Осипович литературы не бросил. Эти строки печатаются в им же созданном "Новом Журнале", сыне "Современных Записок". На любимое дело полагал он последние силы — сам писал, сам читал рукописи.

Вместо двадцати, Господь дал ему всего семь лет жизни. Из программы удалось напечатать лишь большой том "Пятеро и другие", не один Мусоргский, а вся могучая кучка — очень ценная и благородная книга. Она увенчивает достойно достойную жизнь. Беря ее в руки, лишний раз ощущаешь горечь разлуки. За ней долгая, чистая жизнь, затаенная и застенчивая, человека высокой культуры и тонкой выделки — истинного писателя, так до конца и оставшегося себе верным.

1946

Мать Мария
(Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева)

<7 июня 1942 года>

Два треугольника, звезда,
Щит праотца, царя Давида, –
Избрание, а не обида,
Великий путь, а не беда.

Знак Сущего, знак Еговы,
Слиянность Бога и Творенья,
Таинственное откровенье,
Которое узрели вы.

Еще один исполнен срок.
Опять гремит труба Исхода.
Судьбу избранного народа
Вещает снова нам пророк.

Израиль, ты опять гоним,
Но что людская воля злая,
Когда тебя в грозе Синая
Вновь вопрошает Элогим?

И пусть же ты, на ком печать,
Печать звезды шестиугольной,
Научишься душою вольной
На знак неволи отвечать.

Письмо Б.К. Зайцева И.Ф. Бэлзе

5, Avenue des Chalets — *22 мая 1966*
75 Paris (16) — *Париж*

Многоуважаемый Игорь Федорович,
благодарю Вас за присылку оттиска и приветствую как некоего сотоварища по Данте, хотя себя считаю просто его поклонником, а Вас знатоком. — Правда, внутренне я много с Данте жил и в тяжелые времена он очень мне помогал, все же познания мои о нем любительские, — теперь уже и устаревшие.

Как бы то ни было, наш с Вами "патрон" — первосортный. Для меня все это уже в прошлом (как и жизнь моя), Вам же искренно желаю продолжать с ним научное и духовное общение, столь для нашей культуры ценное.

С лучшими чувствами
Борис Зайцев,
русский писатель
и пилигрим итальянский.

P.S. Адреса Вашего не знаю, поэтому пересылаю чрез А<лександра> В<ениаминовича>.

Письмо Б.К. Зайцева К.Г. Паустовскому

5, Avenue des Chalets — *14 июня 1966*
75 Paris (16) — *Париж*

Дорогой Константин Георгиевич,
только что прочитал Вашу "Виллу Боргезе" — прелестно. Прямо превосходно написано, сдержанно, в меру, глубоко и поэтично. Японочка очаровательна, а внутренняя шпилька мне мало интересна, хоть бомбы отвратительны, кто бы их ни бросал.

Я живу теперь у дочери, я один. Вера скончалась 11 мая 1965 года, в этом же особняке, огромном и очень непохожем на квартиру в Булони. Мы живем в двух шагах от бывшей кв<артиры> Бунина, где он и его Вера (подруга юности моей Веры) скончались неск<олько>лет тому назад. А немного дальше жили Мережковский и Гиппиус, еще дальше Ремизов, Алданов, Шмелев. Почти все старшее поколение ушло. Я пережиток, ихтиозавр, случайно пока уцелевший.

В Риме мы были с Верой молодыми и счастливыми. Зиму 1911—12 гг. провели в пансионе на Via Veneto, наверху, где она упирается почти в стену Аврелиана. Окна комнаты нашей выходили на эту стену, за ней — Ваша (и наша) вилла Боргезе. Все это мне очень близкое и почти "родное". (Хотя окончательная родина моя — кроме России, конечно, — Флоренция).

Но бессонных ночей ни жена, ни я и не знали тогда, дрыхли как убитые. Да и силы какие были — раз отмахали пешком по Аппиевой дороге 24 версты. И хоть бы что. Нынешним летом дочь с мужем будут в Москве, 23 июля — 10 августа. Если Вы окажетесь в городе, непременно Вас по-

видают и передадут мой привет, думаю уж прощальный: в феврале мне исполнилось 85 лет. “Пожито, пожито”.

Будьте здоровы, да отыдет от Вас эта астма, не тем будь помянута. И напишите еще что-нибудь очень хорошее.

С лучшими к Вам чувствами
Бор. Зайцев

P.S. Моя дочь называется Наталья Борисовна Соллогуб.



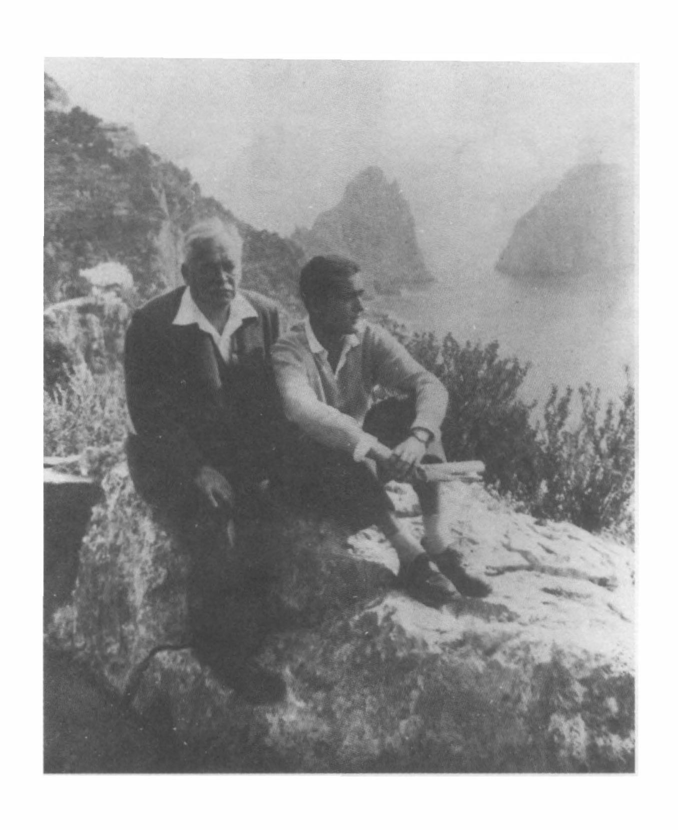
Б. Зайцев и художник Д. Стеллецкий (?) в Италии. (Возможно, Неаполь. Июль 1926 г.) Надпись: "Л.А. Полонской — милой соседке дружественно. Бор. Зайцев"



Любовь Александровна Полонская. 1910-е гг.



Один из фронтовых санитарных отрядов русской армии. Крайняя справа во втором ряду — Л.А. Полонская. 1915—1916 гг.



М.А. Алданов и его племянник А.Я. Полонский на о. Капри. Нач. 50-х гг.



Константин Георгиевич Паустовский
и Борис Константинович Зайцев. Париж, 1962

Фотографии на с. 61—68, 100 получены из архива Н. Б. Зайцевой-Соллогуб, на с. 96—99 — из собрания А. Д. Романенко (дар А. Я. Полонского).

СОДЕРЖАНИЕ

Наталья Борисовна Зайцева-Соллогуб

Я ВСПОМИНАЮ...

Устные рассказы

Редактор И.П. Оловянникова
Корректор М.М. Уразова

Подписано в печать 22.01.98.
Формат 70x100/32. Тираж 1000 экз.
Отпечатано в типографии Издательского Дома "Грааль"